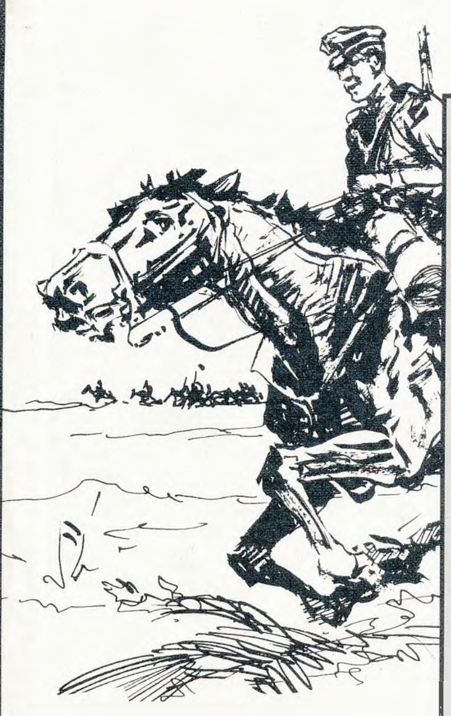
Николай Туроверов Двадцатый год - прощай, Россия!





Николай Туроверов

Двадцатый год - прощай, Россия!



Николай Туроверов



Двадцатый год — прощай, Россия!



Издание осуществлено в рамках
Федеральной целевой программы Российской Федерации
«Развитие и сохранение культуры и искусства Российской Федерации».

Книга издана при содействии АЛЬТА-БАНКА и
газеты «АиФ.Семейный совет.»

К читателям
Президент Российского Фонда Культуры
Никита Михалков.

Предисловие и составление
Виктора Леонидова.

Фотографии из семейного архива любезно предоставлены
Ириной Туроверовой (Франция).

Рисунки из коллекции Русско-Американского
культурно-просветительного и благотворительного общества «Родина»
(Собрание Российского Фонда Культуры).

К читателям

С волнением и радостью представляю Вам книгу стихов и прозы одного из самых значительных русских поэтов XX века Николая Николаевича Туроверова.

Его имя долгие годы находилось под запретом. Человек, чьи стихи тысячи людей переписывали от руки, поэт, сумевший выразить трагедию миллионов русских участников Белого движения и всю тяжесть вынужденного изгнания, был почти неизвестен на своей Родине, которую так любил. Воспевший красоту Донских земель, казачью историю и традиции, он 53 из 73 лет жизни прожил во Франции и никогда не увидел родных станиц.

В его стихах трудно найти какое-то даже одно лишнее слово, Николай Николаевич настолько точен и конкретен в своих произведениях, что строки буквально пронзают. Короткие стихотворения о коне, плывущем за кораблем, навсегда увозящем хозяина, или о матери, не узнавшей сына после долгой разлуки, поэмы «Новочеркасск» и «Легион» давно признаны классическими в литературе русского зарубежья. Но, кроме похвал критиков, Туроверов знал любовь людей. Казаков, солдат, офицеров, всех тех, кого кровавая гражданская война вышвырнула за пределы России.

Это был удивительный человек. Одним своим присутствием он не давал падать духом окружающим. Кроме стихов, которыми поэт согрел столько душ, он очень много сделал для спасения реликвий русской военной истории. Именно с его участием было вывезено в Европу собрание Лейб-гвардии Атаманского его Императорского Высочества наследника Цесаревича Полка, именно он стал организатором многочисленных русских исторических и военных обществ. Такие люди, как Николай Николаевич, не давали забыть на чужой земле русским людям, их детям и внукам, кто они и откуда родом.

Его творчество очень нужно нам сейчас, сегодня, в непростые для России времена. Потому что Туроверов явил пример конкретных дел в самые трудные моменты истории. Воин, поэт, исследователь, собиратель исторических раритетов — все слилось в нем, ставшим одной из самых ярких фигур в нашей культуре.

Выход этой книги очень важен для Российского Фонда Культуры.

Более десяти лет мы занимаемся возвращением наследия русского зарубежья, потому что русская культура едина, и стихи, написанные по-русски, остаются русскими, где бы они ни были написаны. И то, что у российских читателей теперь есть возможность взять в руки книгу этого замечательного поэта — наше большое достижение. И наш подарок всем, кому дорога русская литература и история.

Бесценную помощь при подготовке издания оказала Ирина Ивановна Туроверова. Когда работа была уже завершена, из Франции пришло известие о безвременном уходе из жизни этой удивительной и светлой женщины.

Светлой памяти Ирины Ивановны Туроверовой мы посвящаем эту книгу.

Президент Российского Фонда Культуры

Н. С. Михалков

ПРЕДИСЛОВИЕ

Палящим сентябрьским днем 1972 года сотни людей шли от станции Сен-Женевьев де Буа под Парижем к русскому кладбищу. Потом, после отпевания, долго говорили над могилой. Выступавшие не скупились на слова. «Великий», «Последний», «Истинный сын казачества». И никому из присутствовавших сказанное не казалось преувеличением. Потому что хоронили Николая Николаевича Туроверова.

Собственно, славу эту он познал еще при жизни. В рецензиях на свои сборники стихов поэт неоднократно читал о себе, как о «Баяне казачества»[1], о том, что стих у него «...скупой и точный, в духе пушкинской традиции»[2], о том, что «замечателен его дар пластический, его способность округлять, оканчивать, отделывать без манерности,— одним словом, его чутье художника»[3]. Но, кроме отзывов литературных критиков, из которых никто, даже самые «рафинированные эстеты», не ставили под сомнение этот фантастический талант, он еще знал любовь людей. Ту самую народную любовь, о которой мечтает любой художник.

Его стихи переписывались от руки, его сборники в момент исчезали с прилавков книжных магазинов, по его произведениям учили русскому языку в эмигрантских школах и гимназиях. Он был прост и понятен каждому и, в то же время, сумел выразить мысли и чувства сотен тысяч воинов, своих родных казаков. Его строки не давали опускать руки тем, кто оказался в изгнании после революции и гражданской войны.

Энергия была у этого человека неиссякаемой. Кроме огромного количества стихов, которые он, казалось, писал на удивление легко,

---

[1] Станюкович И. Николай Туроверов-Баян казачества. // Возрождение.-1956.-60.-С.349.

[2] Струве Г. Русская литература в изгнании.-Париж. 1984.-С.353.

[3] Адамович Г. Литературные заметки. // Последние новости.-1937.-28 октября.

Туроверов был душой самых различных русских кружков и организаций. Николай Николаевич долгие годы возглавлял Казачий Союз, беспрерывно организовывал выставки по истории русской военной славы. Если где-то в Париже открывалась экспозиция «1812 год» или «Суворов», можно было не сомневаться — во главе всех этих начинаний, безусловно, был он. Туроверов оказал огромную помощь Сергею Лифарю при создании знаменитой выставки «Пушкин и его эпоха», прогремевшей в 1937 году на весь мир и до сих пор признающейся специалистами одной из самых значительных в посмертной жизни нашего великого поэта. В арсенале многочисленных дел Туроверова — экспозиции Гоголя, Лермонтова, Кружок ревнителей русской военной старины, благотворительные лотереи и издание календарей для инвалидов... Перечислять можно очень долго.

Вы только представьте: позади все ужасы революции и гражданской войны, вокруг чужая страна и чужая речь. Нищета, осознание полной безысходности. А он, после трудного рабочего дня, собирает однополчан, друзей, просто бывших воинов, и они всю ночь с увлечением монтируют выставку, посвященную Петру I. Утром — на работу, кому шофером, кому чернорабочим. Но об этом мало думалось, настолько он умел зажигать тех, кто был рядом с ним.

А еще Туроверов был историком от Бога, одним из лучших специалистов по истории казачества и русской военной иконографии. При все более растущей популярности его в новой России на эту сторону жизни Николая Николаевича внимания обращают мало. А ведь именно благодаря ему до сих пор в Аньере сохранился Музей Лейб-гвардии Атаманского Его Императорского Высочества наследника цесаревича полка. Именно он, сломя голову и достав всеми правдами и неправдами деньги, мчался на парижские барахолки, узнав, что, может быть, продана очередная русская реликвия.

И все же, прежде всего, он был поэтом. Потом, наверное, воином. Потом исследователем и коллекционером. Впрочем, все гармонично сочеталось в этом поразительном человеке.

Несколько лет назад в США умерла Татьяна Павловна Фесенко. С Туроверовым знакома она, правда, не была, но роднила их всепоглощающая любовь к русской поэзии. Как и вообще — к России. В 1963 в Вашингтоне она сумела издать большой том «Содружество» — антологию поэзии русской эмиграции. Стихи, присланные из Австралии и Канады, Америки, конечно, Франции. В конце тома была представлена короткая автобиография каждого участника сборника.

Туроверовская заметка оказалась самой короткой. Он особо отметил, что воевал в трех войнах, «захватив еще и первую мировую»[4].

Успокойся, сердце, успокойся!
В авиньонской католической ночи
Русскою тоской не беспокойся,
Не стучи так громко, не стучи.
Я живу среди солдат без дела,
Ошалев от скуки и вина,
Вот уже и третья отшумела
Для меня несчастная война.

Он родился 18 (30 по новому стилю) марта 1899 году в станице Старочеркасской Области Войска Донского. Мать и отец его происходили из старинных казачьих фамилий. Отец Туроверова был «из судейских» и одним из самых образованных людей своей станицы. Маленький Коля с детства поражал казаков своим умением быстро и складно рифмовать слова.

Как счастлив я, когда приснится
Мне ласка нежная отца,
Моя далекая станица
У быстроводного Донца.

Дальше было Каменское реальное училище, затем Лейб-гвардии Атаманский полк, где он был произведен в урядники. На войне Николай Николаевич был с семнадцати лет. Сначала Новочеркасское военное училище, затем партизанский отряд полковника Чернецова. Там он стал подъесаулом. Кубань, Крым, Сиваш. Его несколько раз ранили, но, наверное, слишком много ему надо было сделать в жизни, и судьба хранила его.

Запомним, запомним до гроба
Жестокую юность свою,
Дымящийся гребень сугроба,
Победу и гибель в бою.

Там, в Крыму, казаки его раненного на руках внесли на борт одного из последних пароходов. Шел великий исход 1920 года.

---

[4] Содружество: Из современной поэзии русского зарубежья.-Вашингтон.-1966.-С.549.

Но ни криков, ни стонов, ни жалоб,
Ни протянутых к берегу рук, —
Тишина переполненных палуб
Напряглась, как натянутый лук.

Кто знает, тогда или потом родилось у Туроверова стихотворение, ставшее символом трагедии русской военной эмиграции. Помните фильм «Служили два товарища» и пронзительную сцену, когда за уходящим кораблем, на палубе которого навсегда покидал Россию герой Высоцкого, кидался в воду конь. И невдомек было переживавшим советским зрителям, что на экране они видели воспроизведение то ли действительного случая, то ли легенды, ходившей среди солдат и казаков. Случай этот описывали многие, к примеру, подруга жизни великого Бунина Галина Кузнецова в рассказе «Кунак». Но только под пером Туроверова история эта обрела бессмертие.

Мой денщик стрелял не мимо,
Покраснела чуть вода...
Уходящий берег Крыма
Я запомнил навсегда.

На борт вместе с Николаем Николаевичем поднялась и его жена, казачка Юлия Александровна Грекова. Они познакомились в крымском госпитале, где она работала медсестрой. Дальше был остров Лемнос — огромный лазарет уцелевших солдат и офицеров частей армии Врангеля, потом Сербия. Вместе с младшим братом Александром, не расстававшимся с ним, он грузил мешки с мукой на мельнице, рубил лес. На руках была уже маленькая дочь Наталья, надо было как-то жить. Но при малейшей возможности ночью или на рассвете, Туроверов писал стихи. На обрывках квитанций, на коробках из-под папирос. Стихи его списками расходились среди многочисленных русских изгнанников в Сербии, и сотни людей зачитывались строфами молодого казака, писавшего об оставленных станицах, Голгофе Белого Дела и последних боях в Крыму.

Мы шли в сухой и пыльной мгле
По раскаленной крымской глине.
Бахчисарай, как хан в седле
Дремал в глубокой котловине.

И в этот день в Чуфут-Кале,
Сорвав бессмертники сухие,
Я выцарапал на скале:
Двадцатый год — прощай, Россия!

Где-то в 1922 Туроверов перебрался в Париж. Ночами грузил вагоны, днем ходил в Сорбонну. Именно здесь, пожалуй, уже вовсю раскрылся и его талант поэта, и мастерство исследователя. Он читал жадно, запоями, перед ним открывались любые двери. Вокруг него постоянно собирались люди, которые, казалось, заряжались энергией жизни от невысокого, коренастого казака, любимой поговоркой которого было «Стой и не боись!»

Первый сборник поэта увидел свет в 1928 году в Париже и назывался «Путь». Книга была с восторгом встречена представителями казачьих и военных кругов эмиграции, и, что самое интересное, даже литераторами из наиболее изысканных ценителей поэзии. Так, метр русского литературного Парижа Георгий Адамович писал в рецензии: «У Туроверова могут найтись читатели и поклонники, потому что в стихах своих он действительно что-то «выражает», а не придумывает слова для выдуманных мыслей и чувств»[5]. Еще более восторжен был один из самых авторитетных критиков и редакторов русского зарубежья Глеб Струве: «Важно то, что у молодого поэта есть что сказать своего, и что он находит часто свои образы и свои темы. В «казачьих» стихах Туроверова приятно чувствуется укорененность в родной почве... Его строки написаны настоящим поэтом»[6].

Следующей книги Туроверову пришлось ждать почти десять лет. Второй сборник «Стихи» увидел свет лишь в 1937 году. К этому времени поэт пользовался практически непререкаемым авторитетом в военных кругах русского зарубежья. «Глубина чувства и мысли, штриховая образность, реальность, скупая сжатость слов и звучность его стихов, как бы кровно вырываются из его сердца, любящего и знающего казачий быт... Николай Николаевич начал читать свои стихи... Чтение стихов окончено. Минутная тишина, тишина забытья и дружный взрыв аплодисментов. А потом, совершенно незнакомые люди, видящие впервые Н. Н. (Туроверова — В.Л.), шли к нему, жали руку, со слезами на глазах целовали его. Крепкая любовь казака к своему родному краю, так легко совмещавшаяся со служением России, не

[5] Адамович Г. Рецензия на книгу Н.Туроверова «Путь». // Звено.-1928.-5.-С.281.
[6] Струве Г. Рецензия на книгу Н.Туроверова «Путь». // Россия.-1928.-14 апреля.

всегда и не всем не-казакам, понятная, казалось, была понята всеми, заразила своей силой, объединила всех»[7].

Такие отзывы в казачьих изданиях, которых во Франции, кстати, было не одно и не два, Туроверов читал множество. Впрочем, к похвалам Николай Николаевич относился достаточно равнодушно, хотя, безусловно, прекрасно осознавал, кто он такой и что он значил для окружающих.

Ко времени появления второй книги стихов Туроверов уже много печатался. «Атаманский вестник», «Родимый край», «Казачий журнал» с удовольствием публиковали стихи и статьи молодого поэта. Особенно часто его имя появлялось на страницах наиболее известного казачьего журнала «Станица», по праву считавшегося одним из самых престижных издании русского Парижа. Журнал этот выходил как «Орган парижской студенческой казачьей станицы» и отстаивал тезис самостоятельности казачьих земель в составе России. Однако по своему уровню издание это выходило далеко за пределы собственно «казачьего мира». Здесь впервые в 1935 году в 16 номере увидела свет изумительная поэма «Новочеркасск», здесь Туроверов опубликовал свои исследования «Платов и его английские изображения», «Дочь Платова», большую статью о герое кавказских войн «Юность Бакланова», работу «Некоторые иностранные сказания о взятии казаками Азова». В 28 номере за 1938 год в журнале даже была напечатана подборка отзывов критиков русской эмиграции о творчестве поэта, где восторженные слова сменяли друг друга.

Итак, вторую книгу Туроверов встретил в ореоле славы. Но, интересно, что здесь впервые у него появляются какие-то ноты безнадежности:

И растет, и ждет ли наша смена,
Чтобы вновь в февральскую пургу,
Дети шли в сугробах по колено
Умирать на розовом снегу.

Опять Туроверова восторженно оценил Адамович: «Его стихи полны точных и метких определений. Он не устает описывать свою суровую, «жестокую» юность с тускловатым блеском погона на хрупких плечах», но рассказы с размышлениями его никогда не сбиваются на исповедь. Стихи ясны и просты хорошей, неподдельной пря-

[7] Станица.-1938.-26.-С.10,12.

мотой, лишенной нарочитого упрощения»[8]. Намного более сурово выступил В. Ф. Ходасевич, но даже его, одного из наиболее утонченных ценителей поэзии, мастерство Туроверова не оставило равнодушным и он назвал стихи «вполне добротными»[9]. Для Ходасевича, которому, конечно, сама тематика стихов Туроверова была абсолютна чужда, такая оценка, согласитесь, стала равнозначна торжественной оде для любого другого.

Однако все-таки бьющая в глаза простота стихов поэта и его казачья удаль смущали представителей парижского литературного Монпарнаса. Вот что, к примеру, писал Юрий Мандельштам: «Отмечалась, наконец, приверженность Туроверова к одной теме, одержимость ею: почти все его стихи — о России. Последнее обстоятельство, однако, не представляется мне достоинством Туроверова. Конечно, безграничная его любовь к Родине и та искренность, с которой она выражается, трогают и радуют. Но дело в том, что единство этих стихов не столько тематическое, сколько сюжетное — и поэтому граничит с однообразием. Вообще для меня сомнительно, что тема России — тема Туроверовская. Его талант, по-моему, не направлен. Туроверов работает как бы вслепую, делает не свое дело»[10]. А Юрий Терапиано, уже приобретший к тому времени известность как поэт и критик, наоборот, отметил второй сборник поэта как книгу автора «талантливого и несомненно одаренного»[11].

В том же 1937 произошло для Туроверова другое значимое событие. В сентябре этого года организационно оформился Кружок казаков-литераторов, под эгидой которого, естественно, с более чем активным участием Николая Николаевича, вышел ряд сборников и альманахов

В 1939, к примеру, увидел свет первый выпуск «Казачьего альманаха», где, наряду со стихами, Николай Николаевич опубликовал блестящую работу «Казаки в изображении иностранных художников», в которой показал ту роль, которую сыграло казачество в творчестве крупнейших мастеров западноевропейского искусства. Но, пожалуй, наибольшее представление о Туроверове, как о библиографе и историке, дает его статья «Книжное собрание Д.И. Ознобишина и его суворовский отдел», опубликованная в 1938 году в 4 номере

[8] Последние новости.-1937.-28 октября.
[9] Возрождение.-1938.-20 июня.
[10] Журнал Содружества.-1938.-4.-С.21.
[11] Круг.-1938.-3.-С.175.

«Временника Общества Друзей Русской книги», выпускавшегося знаменитым библиофилом Яковом Полонским. Альманах этот был очень престижным, издавался в отличном полиграфическом оформлении. В нем печатались Александр Бенуа, Модест Гофман, Михаил Осоргин. Туроверов здесь дал подробнейший обзор собрания Дмитрия Ивановича Ознобишина, в начале нашего века сперва бывшего адъютантом герцога Лейхтенбергского, а потом заместителем военного атташе России во Франции. Он умудрился вывезти в Париж библиотеку своего деда, Дмитрия Ивановича Ознобишина, известного литератора пушкинской поры. Хотя значительная часть ее все-таки сгорела в пожаре революции, многое удалось спасти. Туроверов, которого с Ознобишиным связывали достаточно близкие отношения, дал великолепный обзор коллекции — от Степенных Книг и Родословцев 17 в. до неизвестных писем Суворова принцу Нассау-Зигену — любимцу Потемкина и герою русско-турецкой войны.

В 1939 в Безансоне выходит третий сборник поэта, и под тем же названием — «Стихи». Творчество Туроверова обретало все новые и новые краски:

Все те же убогие хаты,
И так же не станет иным,
Легко уходящий в закаты,
Над хатами розовый дым.
Как раньше — при нашем отъезде, —
Все так же в российской ночи
Мерцают полярных созвездий
В снегах голубые лучи.

Вадим Андреев, сын Леонида Андреева, писал после выхода новой книги Туроверова: «Если бы Туроверов, одаренный очень редкою в наши дни способностью легко и свободно писать стихи, — пишет, как на коньках катается — был менее самоуверен и меньше выставлял напоказ свою казачью удаль»[12]. Все-таки трудно было понять некоторым даже таким талантливым людям, как Вадим Андреев, кстати, писавшим эту статью под псевдонимом С. Осокин, что «казачья удаль» эта была сутью натуры Туроверова. Настоящая, непоказная, и именно в силу своей искренности столь близкая самым разным людям.

[12] Русские записки.-1939.-17.-С.301.

Стихи сопровождались все той же ураганной деятельностью по сбережению памяти о культуре оставленной страны. Вот, к примеру, достаточно характерное объявление из журнала «Станица». Там сообщалось, что к 125-летию со дня рождения Лермонтова в Париже устраивается выставка «Лермонтов и его время». В организационный комитет входят такие известные люди, как Бенуа, Бунин, Гречанинов, Лифарь,Ознобишин. А экспонаты адресовать и обращаться по всем справкам к Н. Н. Туроверову в Аньер[13]. Эта небольшая публикация говорит сама за себя.

Невзирая на все, что происходило вокруг, Туроверов в 1942 сумел выпустить еще один сборник. И с тем же названием — «Стихи». Именно там и появилось «Уходили мы из Крыма» — стихотворение, которые многие, не стесняясь, называют гениальным. Там же впервые увидела свет значительная часть цикла «Легион», посвященная пребыванию Туроверова в Африке, где он воевал в составе Иностранного легиона в начале войны. Впоследствии некоторые ценители поэзии назвали его вторым Гумилевым, настолько ярко он сумел передать дни, проведенные под африканским небом.

В 1945, снова в Париже, поэт издал с прекрасными иллюстрациями П. Полякова поэму «Сирко» — былинную легенду об атамане, чья отрубленная кисть веками была реликвией для казаков.

После войны Туроверов много лет работал в банке, где слыл образцом честности и аккуратности подхода к делу. И ни на секунду не оставлял своей деятельности даже в заметно поувядшей после войны жизни русского Парижа.

Так, уже в марте 1946 году им был организован Кружок любителей русской военной старины. Почетными председателями стали великие князья Андрей Владимирович и Гавриил Константинович, генералы Ознобишин и Гудим-Левкович. Но практически основная работа легла на плечи Николая Николаевича. А в 1947 в Париже увидел свет первый сборник «Русская военная старина», обложку к которому сделал Александр Серебряков. Здесь были опубликованы две статьи Туроверова «Кое-что из суворовской старины» и «Иностранцы-современники о русской армии Екатерининской эпохи». Суворов всегда был любимым героем поэта. Николай Николаевич, безусловно, был одним из лучших специалистов по истории жизни и славы великого фельдмаршала. В 1960 в 62-ом номере «Нового журна-

[13] Станица.-1939.-31.-С.3.

ла», выходившего в США, появилась его прекрасная новелла «Конец Суворова», явившая еще одного Туроверова — замечательного мастера исторической прозы.

В 1965 в Париже была издана последняя прижизненная книга стихов поэта. И название осталось то же — «Стихи». Сюда вошел большей корпус произведений, опубликованных в предыдущих сборниках, и, конечно, новые строфы. Туроверов задумывался о конце пути, о том, что удалось и не удалось сделать русской эмиграции.

Ты прожил жизнь чудесную. Уже
Пора домой в родные степи,
Рожденному на рубеже
Великолепнейших столетий.

Последние годы поэт много болел, дело даже дошло до операции и ампутации ноги. Но упорно работал, как и раньше, заряжая себя и других. 23 сентября 1972 году его не стало.

В начале перестройки имя Туроверова на страницы тогда еще советской печати вернул замечательный библиограф, автор совершенно не доставаемого указателя «Литература русского зарубежья: Книги 1917-1940» (Санкт-Петербург 1990) Анатолий Дмитриевич Алексеев.

Большая подборка стихов Туроверова вышла с его предисловием в журнале Пушкинского Дома «Русская литература»[14]. Затем буквально хлынул вал публикаций в различных журналах, газетах и антологиях поэзии русской эмиграции, выходивших сначала в СССР, а потом России.

В 1995 совместными усилиями Московского Дома-музея Марины Цветаевой, Российского Фонда Культуры и издательства «Изограф» увидела свет книга стихов Туроверова. Тираж в тысячу экземпляров разошелся почти молниеносно. Интерес к творчеству замечательного поэта растет, что и показал изданный в 1999 году в Ростове на Дону историком казачества К.Н.Хохульниковым новый, более полный сборник Туроверова «Храня бессмертники сухие».

И, прежде чем рассказать о принципах построения книги и том корпусе произведений, который в нее вошел, хотелось бы напомнить об удивительной женщине, без которой не было бы ни этого сборника, и не сохранились бы многие реликвии русской эмиграции.

---

[14] Русская литература.-1989.-4.

Париж. Вокзал Сан-Лазар. «Святого Лазаря вокзал» — писал Туроверов. Двадцать минут на электричке и Вы в Сен-Клу. Совсем недалеко Бужеваль. Там окончил свои дни Тургенев. Десять минут на автобусе или полчаса пешком в гору. Домейн (что-то вроде нашего поселка) Святого Франциска Ассизского. Я в гостях у женщины, сохранившей свою красоту. Меня принимает Ирина Ивановна Туроверова. Листаю письма Николая Николаевича к ней, автографы его стихов, а за окном, на закате, немыслимым красным светом горят деревья.

Ее родословной могли бы позавидовать многие. Прадедом был знаменитый казачий атаман Иван Орлов, женатый на одной из дочерей первооткрывателя «Слова о полку Игореве» Мусина-Пушкина. Дедом — сподвижник Скобелева генерал-лейтенант Орлов, старшая сестра матери носила титул Воронцовой-Дашковой. Сама Ирина Ивановна родилась в Константинополе, но всю жизнь прожила во Франции.

Туроверова она знала с детских лет, когда он с красавицей женой Юлией Александровной приезжал к ее отцу, полковнику Попову, закончившего вместе с последним выпуском знаменитое Николаевское кавалерийское училище в Санкт-Петербурге. Никому и в голову не могло прийти, что маленькая Ирина станет впоследствии женой младшего брата Туроверова Александра. Давно уже нет на свете ни Николая Николаевича, ни Александра, а я держу в руках письма поэта юной Ирине, тогда еще Поповой, листаю, автографы Туроверова, сохраненные этой женщиной, для которой Россия и русская поэзия действительно значили все. У нее ведь была далеко не самая легкая жизнь: младший сын Миша, любимец литературного Парижа, погиб в автокатастрофе, недавно умерла племянница, воспитывавшаяся в ее семье как родная. Муж последние свои семь лет, отпущенных ему, был парализован. Но сохранила она поразительную легкость общения и доброту. Туроверова знала наизусть всего Лермонтова, она часами была готова рассказывать о тех, кого встречала: Борисе Зайцеве и Бунине, Ирине Одоевцевой и Владимире Смоленском. Все архивные материалы и уникальные фотографии для этой книги передала она.

Ирина Ивановна очень ждала издания сборника, торопила с работой, хотела организовать торжественное представление книги в Москве. Она как будто предчувствовала, что ей очень мало осталось жить. Книга была уже в производстве, когда мы узнали о неожиданной

кончине Ирины Ивановны. Сборник стихов поэта, которого она так любила, и наследие которого сберегла, будет светлой памятью о ней.

В заключении — два слова о построении книги.

Здесь представлены все сборники Туроверова, опубликованные при его жизни.

Полностью — «Путь» (1928), «Стихи» (1937), «Стихи» (1939), «Стихи» (1942), «Сирко» (1945). Весь корпус произведений, составляющих последнюю прижизненную книгу «Стихи» (1965), включен полностью, кроме входивших в предыдущие сборники.

Ряд стихотворений публикуется по текстам периодических изданий. Стихотворения «Прижалась бутылка рома» и «Пепельница. Пепел мимо...» даны по журналу «Возрождение» (1971, 230), «Звездный свет» и «1942» — по «Новому журналу» (1968, 91), «Украйна», «Казался он уродом...», «Юбилей», «Перекличка», «Чистилище», «Однополчанам» печатаются согласно публикации в журнале «Родимый край» (1962, 40; 1966, 66; 1967, 73; 1968, 74; 1968, 76; 1974, 110).

Стихотворение «Казачка» дается по журналу «Казачий союз» (1958, 19), а «Возвращение» публикуется в соответствии с «Казачьим сборником», изданным в Париже в 1930 г. Стихи «Орда», «Зов» (Отцу моему), «Клич», «Зов» (А. Туроверову) даны в соответствии с текстами в газете «Казачьи думы» (1922, 4 мая; 1922, 22 июня; 1923, 25 апреля; 1923, 30 октября). Ряд ценных библиографических данных по этим произведениям любезно предоставил К. Н. Хохульников.

«Конец Суворова» опубликован по тексту в «Новом журнале» (1960, 62).

Все остальные стихи представлены по архивным материалам И.И.Туроверовой.

Виктор Леонидов

НИКОЛАЙ ТУРОВѢРОВЪ.

ПУТЬ

Дорогой
Ирине [illegible]
свой первый [illegible]
Н. Туроверов
Париж
1947

ПАРИЖЪ.

1928.

I

***

1

Вокруг простор пустынный и безбрежный,
А тут шалаш, бакшевник-дед глухой,
И запах дынь ,настойчивый и нежный,
И скрип кузнечика, протяжный и сухой.

Арбуз не вкусен вяло-тепловатый,
И я смотрю, прищурившись слегка,
Как медленно плывут кусками легкой ваты
В глубоком небе мимо облака.

2

Пустынно стало за гумном и голо.
Снопы в скирду сложили у плетня,
И запахом укропного рассола
Пропитан воздух солнечного дня.

Лишь воробьев, в пыли купаясь, стайка
Одна на улице. О, страдная пора!
С кадушкой огурцов хлопочет молодайка,
И слышен крик ее с соседнего двора.

3

Сижу с утра сегодня на коне,
Но лень слезать, чтоб подтянуть подпруги.
Борзой кобель, горбатый и муругий,
Рысит покорно рядом по стерне.



Я знаю, этот день, не первый и не новый,
Собой не завершит теперь в степи мой путь...
И вспомню после остро как-нибудь
И эти облака, и запах чабрецовый.

4

Закат окрасил облака
И лег в реке отсветом рыжим.
Плотва склевала червяка, —
Мой поплавок давно недвижим.

Струит в лицо степная тишь
Последний хмель благоуханий,
Гляжу на сохнущий камыш
И не мечтаю о сазане.

5

Когда-то мимо этих плес
Шли половцы и печенеги.
О, древний шлях! Дремлю в телеге
Под скрип немазанных колес.

И снится мне все тот же сон —
Склонясь надо мной, поют две бабы,
Напев их, медленный и слабый,
Меня томит, как долгий стон.

6

И. А. Бунину

Пущу собак. И как дитя заплачет
На пахоте настигнутый русак,
И вновь Устин, отцовский доезжачий,
Начнет ворчать, что я пускал не так.

— Опять, паныч, у вас расчету мало.
И с сердцем бросив повод на луку,
Он острием старинного кинжала
Слегка проколет ноздри русаку.



О, мудрая охотничья наука!
Тороча зайца, слушаю слугу,
И лижет старая седеющая сука
Кровавый сгусток в розовом снегу.

7

Двух вороных могучий бег,
Полозьев шум слегка хрустящий,
Морозный день и ветер мчащий
Лицу навстречу колкий снег.

О, как родны и ветла вех,
И дым поземки мутно-синий,
И кучера на шапке мех,
И на усах пушистый иней.

8

Темнее стал за речкой ельник.
Весь в серебре синеет сад,
И над селом зажег сочельник
Зеленый медленный закат.
Лиловым дымом дышат хаты.
Морозна праздничная тишь.
Снега, как комья чистой ваты,
Легли на грудь убогих крыш.
Ах, Русь, Московия, Россия,
— Простор безбрежно снеговой,
Какие звезды золотые
Сейчас зажгутся над тобой?
И все равно, какой бы жребий
Тебе ни бросили года,
Не догорит на этом небе
Волхвов приведшая звезда,
И будут знать, и будут верить,
Что в эту ночь, в мороз, в метель
Младенец был в простой пещере
В стране за тридевять земель.



Никто другой не станет ближе,
Чем Он, скуде дымящих хат,
Когда сухой мороз пронижет
Веселый крик твоих коляд.

МАРТ

За облысевшими буграми
Закаты ярче и длинней,
И ниже виснут вечерами
Густые дымы куреней.
В степи туманы да бурьяны,
Последний грязный, талый снег,
И рьяно правит ветер пьяный
Коней казачьих резвый бег.
Сильней, сильней стяни подпруги,
Вскачи в седло, не знав стремян:
Скачи на выгон, за муругий,
На зиму сложенный саман.
Свищи, кричи в лихой отваге
О том, что ты донской казак,
Гони коня через овраги,
За самый дальний буерак.
Пусть в потной пене возвратится
Твой конь и станет у крыльца;
Пусть у ворот ждет молодица
С улыбкой ясной молодца.
Отдай коня. Раздольно длинный
Путь утомил. И будешь рад
Вдохнуть в сенях ты запах блинный,
Повисший густо сизый чад.
Как раньше предки пили, пели,
Так пей и ты и песни пой.
Все дни на масляной неделе
Ходи с хмельною головой.
Но час придет. И вечер синий
Простелит сумрачную тень,
И в запоздалых криках минет
Последний день, прощеный день.



Сияй лампадами, божница,
В венке сухого ковыля.
Молиться будет и трудиться
Весь пост казачая земля.

СЕРЬГИ

Ю. А. Т — вой

1

Где их родина? В Смирне ль, в Тавризе,
Кто их сделал, кому и когда?
Ах, никто к нам теперь не приблизит
Отлетевшие в вечность года.
Может быть, их впервые надела
Смуглолицая ханская дочь,
Ожидая супруга несмело
В свою первую брачную ночь;
Иль позор искупить, чтобы девичью,
Побороть горечь жалоб и слез,
Их влюбленный персидский царевич
Своей милой в подарок принес.
И она, о стыде забывая,
Ослепленная блеском серег,
Азиатского душного рая
Преступила заветный порог.
Сколько раз потом женские уши
Суждено было им проколоть,
Озаряя гаремные души,
Украшая горячую плоть;
Сколько раз госпожа на верблюде
Колыхала их в зное пустынь,
Глядя сверху на смуглые груди
Опаленных ветрами рабынь.
Но на север, когда каравану
Путь казачий разбой преградил,
Госпожу привели к атаману,
Атаман госпожи не щадил,
Надругался над ней, опорочил,



На горячий швырнув солончак,
И с серьгами к седлу приторочил,
Привязал за высокий арчак.
Или, может быть, прежде чем кинул
Свою жертву под гребень волны,
Разин пьяной рукою их вынул
Из ушей закаспийской княжны,
Чтоб потом, средь награбленной груды,
Забывая родную страну,
Засветилися их изумруды
На разбойном, на вольном Дону.
Эх, приволье широких раздолий,
Голубая полынная лепь,
Разлилась, расплескалась на воле
Ковылями просторная степь.
И когда эту свадьбу справляли
Во весь буйный казачий размах,
Не они ль над узорами шали
У Маланьи сверкали в ушах,
Не казачью ли женскую долю
Разделяли покорно они,
Видя только бурьяны по полю,
Да черкасских старшин курени.
Но станичная глушь миновала,
Среди новых блистательных встреч
Отразили лучисто зеркала
Их над матовым мрамором плеч.
Промелькнули за лицами лица
И, кануном смертельных утрат,
Распростерла над ними столица
Золотой свой веселый закат.

2

Что ж мне делать, коль прошлым так пьяно
Захмелела внезапно душа,
И в полночных огнях ресторана,
По старинному так хороша,
Ты сидишь средь испытанных пьяниц,
Дочь далеких придонских станиц,



И пылает твой смуглый румянец
Под коричневой тенью ресниц.
Колыхаются серьги-подвески,
Расцветают в зеленом огне,
И трепещут короткие блески
В золотистом анжуйском вине.
Что на речи твои я отвечу?
Помню окрик казачьих погонь,
Вижу близко, как весело мечут
Эти камни разбойный огонь.

НОВОЧЕРКАССК

Меня с тобой связали узы
Моих прадедов и дедов, —
Не мне ль теперь просить у музы
И нужных рифм, и нужных слов?
Воспоминаний кубок пенный
Среди скитаний невзгод,
Не мне ль душою неизменной
Испить указан был черед?
Но мыслить не могу иначе:
Ты город прошлых тихих дней,
И новый вихрь судьбы казачьей
Тебе был смерти холодней.

1

Жизнь шла размеренно, не скоро,
Не трудно, но и не легко,
И купол золотой собора
Кругом был виден далеко.
Зимой снега, разлив весною,
А летом ветер, зной и пыль,
Но не мечтал никто иною
Сменить сегодняшнюю быль.
Служилый город и чиновный
Один порядок жизни знал,
И даже мостовой неровной



Вид никого не оскорблял.
По воскресеньям привозили
К базару уголь и каймак,
И на восток глядел средь пыли
В кольчуге бронзовый Ермак.

2

Зимою молодежь гранила
Московской улицы панель,
А летом в сад гулять ходила,
Где старой башни цитадель,
И где в киоске продавщица,
Блестя огнем задорных глаз,
Глядела, как меняет лица,
Стреляя в нос, холодный квас,
И отставные офицеры
В воспоминаньях прошлых дней
Венчали путь своей карьеры
Прогулкой чинной вдоль аллей.

3

Балы не редкостью бывали,
На них полковник и кадет,
Не уставая, танцевали,
Топча безжалостно паркет,
И иногда мелькал средь танца,
Мечтою институтских лет,
Лейб-казака иль атаманца
Мундир, пленяющий лорнет.
В театре с лихостью играли
В антрактах долгих трубачи,
И у подъезда ожидали
Извозчики и лихачи.

4

Был атаман главою края,
Слугой России и Царей,



И, облачением сияя,
Служил в соборе архиерей.
О Думе спорили дворяне
И об охоте невзначай,
Купцы о дегте и тарани,
В прохладных лавках сев за чай.
Блюли закон, моляся Богу,
Хулили злобу, блуд и месть;
Все казаки ходили в ногу
И отдавали лихо честь.

5

Учили те, кто побогаче,
Своих детей, поря за лень,
И реалист носил казачий
Лампас и с кантами чекмень.
Дул ветер зимний или жаркий —
Спал город мирно до зари;
Сквозил пролет к вокзалу арки,
Где проезжали все цари.
Черед часов был тих и плавен,
Крепка была родная лепь, —
Давно забыли, что Булавин
Дымил пожаром эту степь.

6

Степная быль дышала сонно,
Был тверд загар казачьих лиц,
Как воды медленного Дона,
Текла простая жизнь станиц.
Весну встречали в поле, сея,
Скотину выгнав из базов;
Под Пасху ждали иерея
К лампадам темных образов;
Косили в зной, возили кони
Снопы на шумное гумно,
Желтей червонца на попоне
Лежало новое зерно;



Зимой же спали, песни пели,
Деды, хваля минувший век,
Хлебали взвар и с хлебом ели
Арбузный мед, густой нардек.

7

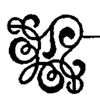
Не к жизни бранной и беспечной
Взывал, спокойствием маня,
Средь вишняка дымок кизячный
Над мирным кровом куреня.
Страны померкнул образ древний.
Средь электрических зарниц
Никто не отличал деревни
От вольных некогда станиц.
Покоем грезили левады,
И стал казак с былым не схож,
Неся на чубе лоск помады,
Под рип резиновых калош.

8

Февраль принес с собой начало.
Ты знал и ждал теперь конца.
Хмельная Русь себя венчала
Без Мономахова венца.
Тебе ль стоять на Диком поле,
Когда средь вздыбленных огней
Воскресший Разин вновь на воле
Сзовет испытанных друзей?
Ты знал — с тобой одним расплата
За тишь романовского дня.
Теперь не вскочит пылкий Платов,
Тебя спасая, на коня.

9

Давно оплеванным призывом
Серели мокрые листки,
С тоской кричали и надрывом
Внизу вокзальные свистки.
В тумане сумрачно темнели



Бульваров мокрых тополя,
А партизаны шли и пели:
«Увидим стены мы Кремля».
Гудели пушки недалеко,
И за грехи своих отцов
Шли дети к смерти одиноко,
И впереди их Чернецов.

10

Кружились вихри снеговые
Над свежей глиною могил.
Знал Каледин, кого впервые
Он на кладбище проводил.
Мела метель. Покорно ждали
Неотвратимого конца,
Но эти дни зачаровали
Снегами юные сердца.
И стало тесно и немило
В глухих родительских домах,
Когда свой знак нашил Корнилов
На партизанских рукавах.

11

Зарю казачьего рассвета
Вещал речами мудро Круг,
Цвело надеждой это лето,
И тополей кружился пух.
Несли к собору из музея
Знамена, стяги, бунчуки
И, дикой местью пламенея,
Восстав, дралися казаки.
А там, где раньше были дачи,
Полков младых ковалась крепь.
Блестел собор с горы иначе —
Иной теперь вставала степь.

12

И над дворцом зареял гордо,
Плеща по ветру, новый флаг;



Звучало радостно и твердо
И danke schoen и guten Tag.
Открылись снова магазины
Забыв недавнее давно,
В подвалах налили грузины
Гостям кавказское вино.
И все собою увенчала
Герба трехвековая сень,
Где был казак нагой сначала,
Потом с стрелой в боку олень.

13

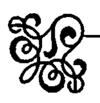
О, эти дни кровавых оргий, —
Ты для себя сам стал чужим.
Побед минутные восторги
Летели прочь, как легкий дым,
И был уверен ты заране —
Не властны в эти дни вожди,
И пламя буйное восстаний
Зальют осенние дожди.

14

Но вновь за мертвенной зимою,
В последний раз хмельна, красна,
Играла полою водой
Твоя последняя весна.
Молниеносные победы
Благословлял весенний дух,
И расцветали вновь обеды,
Молебны и речистый Круг,

15

Британцы, танки и французы.
Как дань восторгов и похвал,
Надели английские блузы
И гимназист, и генерал.
Кто не был бодр, кто не был весел,
Когда на карте за стеклом
Осваг победный шнур повесил



Между Одессой и Орлом?
И все надежды были правы —
На север мчались поезда.
Была тускла средь белой славы
Пятиконечная звезда.

16

Как был прекрасен и возвышен
Высокий строй газетных слов.
Казалось всем, что был уж слышен
Кремлевский звон колоколов.
Блестели радостные взоры;
Под громы дальних канонад,
Как порох, вспыхивали споры
Кому в Москве принять парад,
Кто устранит теперь препоны,
Когда еще повсюду мгла, —
Орел двуглавый без короны
Или корона без орла.

17

Дымилась Русь, горели села,
Пылали скирды и стога,
И я в те дни с тоской веселой
Топтал бегущего врага,
Скача в рядах казачьей лавы,
Дыша простором диких лет.
Нас озарял забытой славы,
Казачьей славы пьяный свет,
И сердце все запоминало, —
Легко рубил казак с плеча,
И кровь на шашке засыхала
Зловещим светом сургуча.

18

Тамбов. Орел. Познал обмана
Ты весь чарующий расцвет,
Когда смерч древнего бурана
Сметал следы имперских лет.

и есть окончательное рѣшенiе,
позднее будущим.
Во всяком случаѣ, библиотека на Alcando в Вашем распоряженiи; рад вами услужить, а Вам особенно.
Вот Вам мои последние шалости пера:

Сегодня впервые раз запела
Какая-то птичка на разсветѣ,
И я отметил помолодѣ —
Конец зимы! За годы эти
Я полюбил тепло весны
Как мечтательные сны,
Как мимолетные свиданья,
Как поэтический рассказ,
Как это тихое лобзанье
И этот блеск счастливых глаз.



Не все равно кому принадлежать?
Какому чуждому народу
Довѣрить сможешь ты иль передать
Свою тысячелѣтнюю свободу?
Тебя не страшит голод и пожар, —
Тебя всего уже прошлое отвергать -

И новому ль нашествию татар
Торжествовать конечную победу?
О, сколько раз борьба была неравной,
Когда врывались насильники и воры;
Ты их вела тогда в глухую ночь,
В свои широкие звериные просторы,
Ты их звала — [illegible] собак —
В свои ~~то~~ трущобы, лютая волчица.
И было так и снова будет так,
И никогда ничто не изменится.
Ни все равно кому принадлежать,
Не все равно какими руками отдаваться!
И мне теперь не надо выбирать,
И мне теперь не надо сомневаться
Какая безраздельная любовь
К родной земле, вернувшейся мне теперь
Из всех краёв единственный и кровный
Какая мне родней и дороже.

Для неустающей Вас шутка
этой шалости.

Целую ручки милой, Вас
и Милочь.

Ваш Н. Туроверов —

Вся наша ничко Вам трем кланяются



И над могилою столетий
Сплелися дикою гульбой
Измена, подвиги и плети,
И честь, и слезы, и разбой.

19

Колокола могильно пели.
В домах прощались, во дворе
Венок плели, кружась, метели
Тебе, мой город, на горе.
Теперь один снесешь ты муки
Под сень соборного креста.
Я помню, помню день разлуки,
В канун Рождения Христа,
И не забуду звон унылый
Среди снегов декабрьских вьюг
И бешеный галоп кобылы,
Меня бросающей на юг.

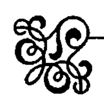
II

КРЫМ

1

Клубятся вихри — призрачнее птицы.
Июльский день. В мажарах казаки.
Склонилися по ветру будяки
На круглой крыше каменной гробницы.

Струится зной. Уходят вереницы
Далеких гор... Маячат тополя,
А казаки поют, что где-то есть поля,
И косяки кобыл, и вольные станицы.



2

По улицам бег душных, летних дней,
А в небе облака, как комья грязной ваты,
На синем шелке бухт корявые заплаты
Железных, дымных, серых кораблей.

По вечерам сторожевых огней
На взморье вещие сполохи —
Огни стремительной эпохи
Над древней скукою камней.

3

Легла на черепицу тень от минарета,
И муэдзин тоской благословил наш день.
В узорах стен дворца и розы, и сирень
Увядших цветников восточного балета.

Но будут волновать в тени сырой боскета
Чеканные стихи нас, спутница, вдвоем,
И отразит глубокий водоем
Знакомый лик любимого поэта.

4

Мы шли в сухой и пыльной мгле
По раскаленной крымской глине,
Бахчисарай, как хан в седле,
Дремал в глубокой котловине.

И в этот день в Чуфут-Кале,
Сорвав бессмертники сухие,
Я выцарапал на скале:
Двадцатый год — прощай, Россия.

ПЕРЕКОП

Родному полку

1

Сильней в стременах стыли ноги,
И мерзла с поводом рука.
Всю ночь шли рысью без дороги
С душой травимого волка.



Искрился лед отсветом блеска
Ко́ротких вспышек батарей,
И от Днепра до Геническа
Стояло зарево огней.
Кто завтра жребий смертный вынет,
Чей будет труп в снегу лежать?
Молись, молись о дальнем сыне
Перед святой иконой, мать!

2

Нас было мало, слишком мало.
От вражьих толп темнела даль;
Но твердым блеском засверкала
Из ножен вынутая сталь.
Последних пламенных порывов
Была исполнена душа,
В железном грохоте разрывов
Вскипали воды Сиваша.
И ждали все, внимая знаку,
И подан был знакомый знак...
Полк шел в последнюю атаку,
Венчая путь своих атак.

3

Забыть ли, как на снегу сбитом
В последний раз рубил казак,
Как под размашистым копытом
Звенел промерзлый солончак,
И как минутная победа
Швырнула нас через окоп,
И храп коней, и крик соседа,
И кровью залитый сугроб.
Но нас ли помнила Европа,
И кто в нас верил, кто нас знал,
Когда над валом Перекопа
Орды вставал девятый вал.



4

О милом крае, о родимом
Звенела песня казака,
И гнал, и рвал над белым Крымом
Морозный ветер облака.
Спеши, мой конь, долиной Качи,
Свершай последний переход.
Нет, не один из нас заплачет,
Грузясь на ждущий пароход,
Когда с прощальным поцелуем
Освободим ремни подпруг,
И, злым предчувствием волнуем,
Заржет печально верный друг.

ОТПЛЫТИЕ

1

Уходит дымный контур Аю-Дага.
Остались позади осенние поля.
На юг идет за пеной корабля
Стальных дельфинов резвая ватага.
Вчерашних дней кровавая отвага
Теперь для нас неповторимый сон.
Даль придавил свинцовый небосклон,
Все больше верст на циферблате лага.

2

Помню горечь соленого ветра,
Перегруженный крен корабля;
Полосою синего фетра
Исчезала в тумане земля;
Но ни криков, ни стонов, ни жалоб,
Ни протянутых к берегу рук.
— Тишина переполненных палуб
Напряглась, как натянутый лук;
Напряглась и такою осталась



Тетива наших душ навсегда.
Черной пропастью мне показалась
За бортом голубая вода,
И, прощаясь с Россией навеки,
Я постиг, я запомнил навек
Неподвижность толпы на спардеке,
Эти слезы у дрогнувших век.

АРХИПЕЛАГ

1

Глядят карандашом набросанные рожи
С тугого полотна моей палатки.
Дым от костра, сиреневый и шаткий,
В закатный час задумчивей и строже.

Быть может, их чертил, в тоске с моею схожей,
Какой-нибудь француз в Алжире иль Марокко
И бросил карандаш, когда взревел сирокко
Раздольной волей вечных бездорожий.

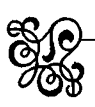
2

Февральский день и тихий, и жемчужный
Белесо отразился в зеркале воды.
Прошли вдвоем. Чуть видные следы
Остались на песке. Шум лагеря ненужный

Лениво затихал. Ажурный контур гор
В молочной мгле суровей был и выше.
И оба вспомнили заснеженные крыши,
Лиловый дым, закат и на окне узор.

3

В полдневный час у пристани, когда
Струился зной от камня и железа,
Грузили мы баржу под взглядом сенгалеза,
И отражала нас стеклянная вода.



Мы смутно помним прошлые года,
Неся по сходням соль, в чувалах хлеб и мыло, —
В один забытый сон слилося все, что было
И все, что не было, быть может, никогда.

4

Прорезал облака последний резко луч.
Дохнуло море солью сыровато,
И краски расцвели внезапно и богато
На склонах смугло-желтоватых круч.

Минувшего нашел заветный ключ, —
Знаком залив, знакома эта влага:
Мне в детстве снился зной архипелага
И этот мыс на фоне сизых туч.

В ГОРАХ

1

Глубокий снег лежал в горах.
Был лунный свет мутнее дыма.
Попутчик мой сказал: «Аллах
Хранит в дороге пилигрима».
Кто он, откуда? Для меня
Не все равно ль. На горном склоне
Он своего поил коня,
И вместе пили наши кони.
Теперь нас ждет в горах ночлег,
И знаю я, дрожа от стужи,
Он для меня расчистит снег,
Прострелет рваный плащ верблюжий
И, вынув свой кремень и трут,
Зажжет подобранные сучья.
Счастлив Аллах, царящий тут,
Слуги ему не надо лучше.

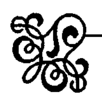
2

Я скрылся от дождя, от ночи и от бури
В пастушьем шалаше. Пастух был нелюдим,
Но он мне место дал у очага на шкуре
И круглый хлеб, надъеденный самим.
В горах случайны и безмолвны встречи.
Что он мне мог сказать, что мог ответить я,
Когда нас крепче слов сближает мех овечий
И скудное тепло дымящего огня.

СТИХИ О СЕРБИИ

1

Не знал ни Саввы, ни Душана,
Казалось — ты глухой пустырь,
Когда плясала обезьяна,
И пел уныло поводырь.
Когда-то, где-то дрались смело,
Кого-то, кто-то угнетал...
Глядя на бронзовое тело,
Тебя никто тогда не знал.
Да, что любили и что знали
Мы в те постыдные года,
Когда свои родные дали
Казались мрачными всегда,
И только здесь иные речи,
Иное чувство нам дано,
И стал нам дорог сыр овечий,
И это терпкое вино,
И эта тишь, и эти дымы
Твоих вечерних деревень —
Не мы ль теперь, тоской гонимы,
Благословляем мирный день;
Изведав горькую утрату,
Своей земли, теперь не мы ль
Твердим неверящему брату,
Ему неведомую быль.



2

За старой ригой поворот.
Легко идти по росным тропам
В вечерний час на огород,
Дыша гвоздикой и укропом.
О мирный труд! Шагает конь.
Чигирь скрипит. Вода струится.
Нет, дни пожаров и погонь
Теперь сплошная небылица.
И в этот час, средь синих верб,
Когда двурогий месяц встанет,
Как может верить старый серб
Словам о буре и о бране.
Мне — дальней родины позор,
Ему — его земля и травы,
И даст он молча помидор
Рукой мне грязной и шершавой.

3

Опять сентябрь в чужой стране.
Но не ищу судьбы укора,
Идя по розовой стерне
Тропой уклонной косогора.
Приюта нет — ну что ж, и пусть,
Меня влекут чужие дали, —
Вручу дорожным ветрам грусть,
Чужим полям отдам печали.
Я знаю, кто не тороплив,
Кто числит время ростом злаков,
Тому сентябрь везде счастлив
И благосклонно одинаков.
И с сердцем легким и простым,
Гляжу, весь мир благословляя,
Как над селом лиловый дым
Восходит ввысь, лениво тая.

4

Темней загар мужичьих лиц;
Трава в садах судней и суше́,
И медью рдеют листья груши
Над пылью сельских черепиц.
И близки мне туманность вод,
От скирд протянутые тени,
И золотистых воскресений
Веселый сельский хоровод.
Здесь о Руси невнятен плач,
Народ осенним счастьем весел,
И над селом сентябрь повесил
Закатов праздничный кумач.

5

Свергались народов потопы,
И солнце тускнело в пыли,
Когда ты к преддверьям Европы
Ушел от родимой земли.
Осев у балканских подножий,
Приял обретенную твердь;
К лежащей в распластанной дрожи
Империи близилась смерть.
Но, сердцу глухому послушней,
Ты верил в свой заступ и меч, —
Не мог пренебречь равнодушней
Ты книги и мудрую речь.
И в краткое время расцвета
Не кинул насиженных нор,
И слеп от тлетворного света
Душана сверкающий двор,
И прочь, не оставив поверья,
Промчались, красуясь вотще,
На шлеме надменные перья



И знаки креста на плаще.
Когда же победно османы
Нахлынули, ширя набег,
Ты вышел встречать ятаганы,
В бараний закутавшись мех.
Под грузом блистательной Порты
Застыли недвижно века;
Но прятала нож полустертый
За пояс упорно рука.
О, сколько, упрямы и дики,
На кручах, в ущельях, полях
Вождей раздавалися клики
В рожденных внезапно боях;
Но редко кто помнил на свете
Про твой вековечный окрест,
Где серп вознесенный мечети
Венчал покосившийся крест.
И пусть по кровавой дороге
Ты вышел теперь на закат, —
Ты будешь чужой и убогий
Для Запада, младший мой брат.
Народам, изведавшим смены
И яды блестящих эпох,
Понятней Версальские стены,
Чем в скалах кустарник и мох;
Но русскому сердцу дороже
В пастушьем напеве свирель;
У женщины, с нашею схожей,
В руке вековая кудель.
И весь от загара ты бурый,
Огонь высекающий в трут,
И эти овчинные шкуры,
И потом пропитанный труд.
Неси же упорней и диче
Пращуров наших завет
К порогу славянских величий
Сквозь хлябь умирающих лет.



Nom et prénoms de l'Étudiant. M Tourovéroff Nicolas

Date et lieu de naissance.
Date 18 III 1899.
Lieu Manco-Berezovo
Pays Russie
Département ou province du Don

Adresses de l'Étudiant. 152 Faubourg St-Ila... Paris X

(Signature de l'Étudiant)
N Tourovéroff

Sceau de la Faculté ou École.

(Signature du Secrétaire de la Faculté ou École, ou de son Délégué, attestant que les pièces authentiques d'état civil et les diplômes ou certificats ont été présentés.

(Signature ou griffe du Doyen ou du Directeur.)

(Légalisation des signatures.

Студенческая анкета Н. Н. Туроверова.



***

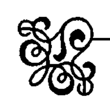
1

А. Туроверову

Ты говоришь: «Смотри на снег,
Когда синей он станет к ночи.
Тяжелый путь за прошлый грех
Одним длинней, другим короче;
Но всех роднят напевы вьюг,
Кто в дальних странствиях обижен.
Зимой острее взор и слух,
И Русь роднее нам и ближе».
И я смотрю... Темнеет твердь.
Меня с тобой метель сдружила,
Когда на подвиг и на смерть
Нас увлекал в снега Корнилов.
Те дни прошли. Дней новых бег
Из года в год неинтересней, —
Мы той зиме отдали смех,
Отдали молодость и песни.
Но в час глухой я выйду в ночь,
В родную снежную безбрежность —
Разлуку сможет превозмочь
Лишь познающий безнадежность.

2

Нежданной дорогой с тобою мы двое
Идем неразлучно, мой спутник и брат,
И помним мучительно время былое —
Мелькнувшее детство свое золотое
И родины страшный, кровавый закат.
Я знаю: тоской и работой остужен,
Ты числишь устало пустынные дни;
Наш путь и далек, и уныл, и окружен,
Но будет порыв наш стремительно нужен,
Когда мы увидим огни.
Услышим звенящие трубы возврата



И, близко видавшие смерть,
Мы круто свернем на восток от заката,
И будет ничтожна былая утрата
Для вновь обретающих твердь.

ЗОРИ

1

Все тот же Лувр и то же Тюльери,
Просторные, пустынные аллеи,
В воде бассейна медленные змеи
Весенней, догорающей зари.

И в окнах тот же рыжеватый свет —
Вечерний слиток золота и меди,
И на закат все так же прямо едет
Со шпагою упрямый Лафайет.

2

О неземной, невероятной неге
Возвышенного бытия
Строфой классических элегий
Звенит фонтанная струя.

И сыпет золотом богато
Заката щедрая рука,
Загнув над крышею сената
Торжественные облака.

3

Прохожих редких четок шаг.
Длиннее тени на газоне;
Ты ждешь, когда фонарь уронит
В канал серебряный зигзаг.

Как передать в простых речах
И этот вечер вешне-мглистый,
И этот блеск, сухой и чистый,
В твоих восторженных очах.

4

Весны волнующий намек
Опять уверит и обманет.
В рассветном уличном тумане
Мой путь не нов и не далек.

Давно надежд всех минул срок;
Но нужно ль сердцу биться глуше, —
Грузя в вагон свиные туши,
Я вижу розовый восток.

ПАРИЖ

Опять в бистро за чашкой кофе
Услышу я, в который раз,
О добровольческой Голгофе
Твой увлекательный рассказ;
Мой дорогой однополчанин,
Войною нареченный брат,
В снегах корниловской Кубани
Ты, как и все мы, выпил яд
Пленительный и неминучий,
Напиток рухнувших эпох;
И всех земных благополучий
Стал для тебя далек порог.
Все той же бесшабашной воле
Порывы сердца сохраняя,
Ты мнишь себя в задонском поле,
Средь пулеметного огня,
И, сквозь седую муть тумана
Увидя людные бугры,
Сталь неразлучного нагана
Рвешь на ходу из кобуры.

Что можем мы и что мы знаем?
В плену обыкновенных дней,
Упрямо грезя грозным раем
Жестокой юности своей,

С настойчивостью очевидца
Своей страны шальной судьбы,
Мы заставляем сердце биться
Биеньем бешеным борьбы.
Что ж, может быть, в твоей отраве,
Париж, смешон теперь наш бред —
Но затереть никто не вправе
Тех дней неизгладимый след;
Пока нам дорог хмель сражений,
Походов вьюги и дожди,
Еще не знают поражений
Непобедившие вожди.

Как счастлив я, когда приснится
Мне ласка нежного отца,
Моя далекая станица
У быстроводного Донца,
На гумнах новая солома,
В лугах душистые стога,
Знакомый кров родного дома,
Реки родные берега;
И слез невольно сердце просит,
И я рыдать во сне готов,
Когда вновь слышу в спелом просе
Вечерний крик перепелов,
И вижу розовые рощи,
В пожаре дымном облака,
И эти воды, где полощет
Заря веселые шелка.

Мой милый край, в угаре брани
Тебе я вымолвил — прости;
Но и цветам воспоминаний
Не много лет дано цвести.
Какие пламенные строфы
Напомнят мне мои поля
И эту степь, где бродят дрофы
В сухом разливе ковыля;
Кто дали мглистые раздвинет —



Унылых лет глухую сень, —
И снова горечью полыни
Дохнет в лицо горячий день:
Набат станиц, орудий гулы,
Крещенье первого огня,
Когда судьба меня швырнула
От парты прямо на коня.

Нам всем один достался жребий,
Нас озарил один закат,
Не мы ль теперь в насущном хлебе
Вкусили горечь всех утрат?
Неискупимые потери
Укором совести встают,
Когда, стучась в чужие двери,
Мы просим временный приют —
Своих страданий пилигримы,
Скитальцы не своей вины.
Твои ль, Париж, закроют дымы
Лицо покинутой страны
И беспокойный дух кочевий;
Неповторимые года
Сгорят в твоем железном чреве
И навсегда, и без следа.

Ужели все мы песни спели,
И больше песен нам не петь?
И много лет еще в отеле
Из окон будем мы смотреть,
Как над ребром соседней крыши,
Дыша весной на город зря,
В апреле медленней и выше
Цветет парижская заря;
Но в городском вечернем виде,
С шестиэтажной высоты,
Привыкший взор уже не видит
Необычайной красоты.
И в жидкой мгле весенней ночи,
Из года в год, без перемен,

Нам безысходный труд пророчит
Горящий в небе Ситроен.

Как далека от нас природа,
Как жалок с нею наш союз;
Чугунным факелом свобода
Благословляет наших муз,
И, славя несветящий факел,
Земли не слыша древний зов,
Идем мы ощупью во мраке
На зовы райских голосов,
И жадно ищем вещих знаков
Несовершившихся чудес,
И ждем, когда для нас Иаков
Опустит лестницу с небес.
И мы восторженной толпою,
В горячей солнечной пыли,
Уйдем небесною тропою
От неопознанной земли.

Николай Туроверов

НИКОЛАЙ ТУРОВѢРОВЪ

СТИХИ



1937

I

***

Ах, Боже мой, жара, какая,
Какая знойная сухмень!
Собака, будто неживая,
Лежит в тени — но что за тень
В степи от маленькой кислицы?
И я, под сенью деревца,
В рубахе выцветшего ситца,
Смотрю на спящего отца.
И жаркий блеск его двустволки,
И желтой кожи патронташ,
И кровь, и перья перепелки,
Небрежно брошенной в ягташ, —
Весь этот день, такой горячий,
И солнца нестерпимый свет
Запомню с жадностью ребячей
Своих восьми неполных лет,
Запомню, сам того не зная,
И буду помнить до конца.
О, степь от зноя голубая,
О, профиль спящего отца!

***

Отец свой нож неспешно вынет,
Охотничий огромный нож,
И скажет весело: «Ну, что ж,
Теперь попробуем мы дыню».
А дыня будет хороша —
Что дать отцу, бакшевник знает,



Ее он долго выбирает
Среди других у шалаша.
Течет по пальцам сладкий сок,
Он для меня охот всех слаще;
Но, как охотник настоящий,
Собаке лучший дам кусок.

***

Д. И. Ознобишину

Четвертый день сижу в кибитке.
В степи буран. Дороги нет.
Четвертый день мне на обед
Плохого чая крошит плитки
Калмык в кобылье молоко
И кипятит с бараньим жиром.
Метель, метель над целым миром.
Как я от дома далеко!
Делю скуду зимовника
В плену задонской непогоды.
О, эти войлочные своды
И дым сырого кизяка,
Кочевий древнее жилье,
Мое случайное жилище...
Буран, как волк, по свету рыщет,
Все ищет логово свое.
Занесена, заметена
Моя теперь снегами бричка.
Дымит очаг, поет калмычка
И в песне просит гилюна
Трубить в трубу, пугать буран —
Без корма гибнут кобылицы,
А я дремлю, и мне все снится
Идущий в Лхассу караван
По плоскогориям в Тибете,
Туда, где сам Далай Лама.
Там тот же ветер, снег и тьма.
Метель, метель на целом свете.



***

Утпола — по-калмыцки «звезда»,
Утпола — твое девичье имя.
По толокам пасутся стада,
Стрепета пролетают над ними.
Ни дорог, ни деревьев, ни хат.
Далеки друг от друга улусы,
И в полынь азиатский закат
Уронил свои желтые бусы.
В жарком мареве, в розовой мгле,
Весь июнь по Задонью кочую.
У тебя на реке Куберле
Эту ночь, Утпола, заночую.
Не прогонишь меня без отца,
А отец твой уехал к соседу;
Как касается ветер лица,
Так неслышно к тебе я приеду.
Ты в кибитке своей для меня
Приготовишь из войлока ложе,
Моего расседлаешь коня,
Разнуздаешь его и стреножишь.
Не кляни мой внезапный ночлег,
Не клянись, что тебя я забуду;
Никогда неожиданный грех
Не разгневает кроткого Будду.
Утпола, ты моя Утпола —
Золотистая россыпь созвездий...
Ничего ты понять не могла,
Что тебе я сказал при отъезде.

***

Какой необоримый зной
Струится с выцветшего неба,
Какой незыблемый покой
В просторах зреющего хлеба;
И как ясна моя судьба,
Как этот мир и прост, и прочен.
Волы бредут, скрипит арба;



Домой приеду только к ночи,
И будет темен отчий дом,
Ни ожидания, ни встречи, —
Каким невероятным сном
Покажется мне этот вечер,
Когда у ветхого крыльца,
Последние теряя силы,
Я буду тщетно звать отца,
И мне молчанием могилы
Ответит запертая дверь,
И незнакомые соседи
Услышат крик моих потерь
На пу́стыре моих наследий...
А завтра будет тот же день,
В родных местах чужие лица,
Все так же будет колоситься
Вокруг желтеющий ячмень.
Вотще тебе, моя страна,
Мои скитанья и страданья!
Все также слышно табуна
На зорях радостное ржанье,
И те же мирные стада
На водопое у колодца,
И вечерами также льется
В корыто звонкая вода.
О, как ясна моя судьба!
С концом сливается начало,
И мой корабль — моя арба
Скрипит у верного причала.

***

Звенит над корками арбуза
Неугомонная пчела.
Изнемогающая Муза
Под бричкой снова прилегла,
Ища какой-нибудь прохлады
В моем степном горячем дне,
И мнет воздушные наряды
На свежескошенной стерне.



А я сижу на солнцепеке,
К жаре привыкший человек,
Гляжу, как медленно на щеки
Из синевы закрытых век
Слезу подруга дорогая
Роняет в тяжком полусне,
Иные страны вспоминая
В унылой варварской стране.
И, как дитя, протяжно дышит
Среди окованных колес,
И ветерок легко колышет
Сухую смоль ее волос.
О, беспокойный дух скитаний!
Но что я знаю и могу?..
Когда в степи прохладней станет,
Савраса в бричку запрягу,
И снова с Музой по ухабам
Заброшенного большака,
Где только каменные бабы
Да грустный посвист байбака,
Я буду ехать, иноходца
Не торопя и не гоня...
Звезда вечерняя зажжется
И Муза милая моя,
Когда небесный путь попозже
Блеснет над нашею дугой,
Возьмет веревочные вожжи
Своею нежною рукой.

***

Июльский день. Овраг. Криница.
От зноя обмелевший пруд.
Стреноженная кобылица,
Звеня железом своих пут,
Бредет на жарком косогоре
В сухих колючках будяка,
И звону путь печально вторит
Ленивый посвист кулика.
О, сонный полдень летней дневки!



И вспомню ль я иные дни,
Под грушей лежа на поддевке
В неосвежающей тени,
Когда зовет к глухим дремотам
Своим журчанием родник,
И остро пахнет конским потом
На солнце сохнущий потник.

***

Я знаю, не будет иначе,
Всему свой черед и пора.
Не вскрикнет никто, не заплачет,
Когда постучусь у двора.
Чужая на выгоне хата,
Бурьян на упавшем плетне,
Да отблеск степного заката,
Застывший в убогом окне.
И скажет негромко и сухо,
Что здесь мне нельзя ночевать
В лохмотьях босая старуха,
Меня не узнавшая мать.

II

***

Не выдаст моя кобылица,
Не лопнет подпруга седла.
Дымится в Задоньи, курится
Седая февральская мгла.
Встает за могилой могила,
Темнеет калмыцкая твердь,
И где-то правее — Корнилов,
В метелях идущий на смерть.
Запомним, запомним до гроба
Жестокую юность свою,
Дымящийся гребень сугроба,



Победу и гибель в бою,
Тоску безысходного гона,
Тревоги в морозных ночах,
Да блеск тускловатый погона
На хрупких, на детских плечах.
Мы отдали все, что имели,
Тебе, восемнадцатый год,
Твоей азиатской метели
Степной — за Россию — поход.

***

В эту ночь мы ушли от погони,
Расседлали своих лошадей;
Я лежали на шершавой попоне
Среди спящих усталых людей.
И запомнил, и помню доныне
Наш последний российский ночлег,
— Эти звезды приморской пустыни,
Этот синий мерцающий снег.
Стерегло нас последнее горе
После снежных татарских полей —
Ледяное Понтийское море,
Ледяная душа кораблей.
Все иссякнет — и нежность, и злоба,
Все забудем, что помнить должны,
И останется с нами до гроба
Только имя забытой страны.

***

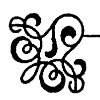
Эти дни не могут повторяться —
Юность не вернется никогда.
И туманнее, и реже снятся
Нам чудесные, жестокие года.
С каждым годом меньше очевидцев
Этих страшных, легендарных дней.
— Наше сердце приучилось биться
И спокойнее, и глуше, и ровней.
Что теперь мы можем и что смеем?



Полюбив спокойную страну,
Незаметно, медленно стареем
В европейском ласковом плену.
И растет, и ждет ли наша смена,
Чтобы вновь, в февральскую пургу,
Дети шли в сугробах по колено
Умирать на розовом снегу.
И над одинокими на свете,
С песнями идущими на смерть,
Веял тот же сумасшедший ветер,
И темнела сумрачная твердь.

***

Одних уж нет, а те далече —
Недолог человечий срок.
О, Боже, как я одинок,
Какие выспренные речи,
Как мертво падают слова,
Как верим трудно мы и плохо,
— Что ж, может быть, ты и права,
Для нас жестокая эпоха.
И для каких грядущих дней
Храню бессмертники сухие?
Все меньше помним о России,
Все реже думаем о ней;
В плену бесплодного труда
Иными стали эти люди,
А дни идут, идут года,
Разлюбим скоро и забудем
Все то, что связано с Тобой,
Все то, что раньше было с нами.
О, бедная людская память!
Какой архангельской трубой
Нас воскресить теперь из праха?
И мы живем, все что-то ждем
И песни старые поем
Во имя русского размаха,
Во славу легендарных лет,
Давным-давно которых нет.



***

Больше ждать, и верить, и томиться,
Притворяться больше не могу.
Древняя Черкасская станица,
Город мой на низком берегу
С каждым годом дальше и дороже...
Время примириться мне с судьбой.
Для тебя случайный я прохожий,
Для меня, наверно, ты чужой.
Ничего не помню и не знаю!
Фея положила в колыбель
Мне свирель прадедовского края
Да насущный хлеб чужих земель.
Пусть другие более счастливы,
И далекий, неизвестный брат
Видит эти степи и разливы
И поет про ветер и закат.
Будем незнакомы с ним до гроба,
И, в родном не встретившись краю,
Мы друг друга опознаем оба,
Все равно, в аду или в раю.

Дорогой Иринѣ Поповой
Николай Туроверов

***

Тоскую, горю и сгораю
В чужой непривольной дали,
Как будто не знал и не знаю
Родной и любимой земли.
Но нужно ль кого ненавидеть
За то, что досталося мне
Лишь в юности родину видеть,
Скача на горячем коне,
Запомнить простор да туманы,
Пожары, разбои и кровь,
И, видя ненужные страны,
Хранить неземную любовь...





Туроверовым-младшим
Туроверов-старший
Париж 1967

Казачьи песни

Издательство КАЗАЧЬЯ СТАРИНА
P.D.Gouldieff
4I-4I.44 Street.Apt.,3-H.
Sunnyside,L.I.,N.Y. IIIO4.
U.S.A.

Дарственная надпись Николая Туроверова семье его брата Александра.



***

Мы плохо предков своих знали.
Жизнь на Дону была глуха,
Когда прабабка в лучшей шали,
Невозмутима и строга,
Надев жемчужные подвески,
Уселась в кресло напоказ,
И зрел ее в достойном блеске
Старочеркасский богомаз.
О, как старательно и чисто
Писал он смуглое лицо,
И цареградские мониста,
И с аметистами кольцо;
И шали блеклые розаны
Под кистью ярко расцвели,
Забыв полуденные страны
Для этой северной земли.
...А ветер в поле гнал туманы,
К дождю кричали петухи,
Росли на улице бурьяны,
И лебеда, и лопухи;
Паслись на площади телята,
И к Дону шумною гурьбой
Шли босоногие ребята,
Ведя коней на водопой;
На берегу сушились сети,
Качал баркасы темный Дон,
Нес по низовью влажный ветер
Собора скудный перезвон,
Кружились по ветру вороны,
Садясь на мокрые плетни,
Кизячный дым под перезвоны
Кадили щедро курени;
Казак, чекмень в грязи запачкав,
Гнал через лужи жеребца,
И чернобровая казачка
Глядела вслед ему с крыльца.

***

Они сойдутся в первый раз
На обетованной долине,
Когда трубы звенящий глас
В раю повторит крик павлиний,
Зовя всех мертвых и живых
На суд Божьего престола,
И станут парой часовых
У врат Егорий и Никола;
И сам архангел Михаил,
Спустившись в степь, в лесные чащи,
Разрубит плен донских могил,
Подняв высоко меч горящий,
— И Ермака увидит Бог:
Разрез очей упрямо-смелый,
Носки загнутые сапог,
Шишак и панцирь заржавелый;
В тоске несбывшихся надежд,
От страшной казни безобразен,
Пройдет с своей ватагой Разин,
Не опустив пред Богом вежд;
Булавин промелькнет Кондратий,
Открыв кровавые рубцы;
За ним — заплата на заплате —
Пройдут зипунные бойцы,
Кто Русь стерег во тьме столетий,
Пока не грянула пора,
И низко их склонились дети
К ботфортам грозного Петра.
В походном синем чекмене,
Как будто только из похода,
Проедет Платов на коне
С полками памятного года;
За ним, средь кликов боевых,
Взметая пыль дороги райской,
Проскачут с множеством других —
Бакланов, Греков, Иловайский,
— Все те, кто, славу казака
Сплетя со славою имперской,



Донского гнали маштака
В отваге пламенной и дерзкой
Туда, где в грохоте войны
Мужала юная Россия,
— Степей наездники лихие,
Отцов достойные сыны;
Но вот дыханье страшных лет
Повеет в светлых рощах рая,
И Каледин, в руках сжимая
Пробивший сердце пистолет,
Пройдет средь крови и отрепий
Донских последних казаков.
И скажет Бог:
«Я создал степи
Не для того, чтоб видеть кровь».
«Был тяжкий крест им в жизни дан,—
Заступник вымолвит Никола:
Всегда просил казачий стан
Меня молиться у Престола».
«Они сыны моей земли! —
Воскликнет пламенный Егорий:
Моих волков они блюли,
Мне поверяли свое горе».
И Бог, в любви изнемогая,
Ладонью скроет влагу вежд,
И будет ветер гнуть, играя,
Тяжелый шелк Его одежд.

***

Минуя грозных стен Азова,
Подняв косые паруса,
В который раз смотрели снова
Вы на чужие небеса?
Который раз в открытом море,
С уключин смыв чужую кровь,
Несли вы дальше смерть и горе
В туман турецких берегов.
Но и средь вас не видел многих
Плывущий сзади атаман,



Когда меж берегов пологих
Ваш возвращался караван;
Ковры Царьграда и Дамаска
В Дону купали каюки,
На низкой пристани Черкасска
Вас ожидали старики;
Но прежде чем делить добычу,
Вы лучший камень и ковер,
Блюдя прадедовский обычай,
Несли торжественно в собор,
И прибавляли вновь к оправе
Икон сверкающий алмаз,
Чтоб сохранить казачьей славе
Навеки ласку Божьих глаз.

III

***

Зеленей трава не может быть,
Быть не могут зори золотистей,
Первые потерянные листья
Будут долго по каналу плыть,
Будут долго воды розоветь,
С каждым мигом глубже и чудесней.
— Неужели радостный песни
Разучились слушать мы и петь?
Знаю, знаю, ты уже устал,
Знаю власть твоих воспоминаний,
Но, смотри, каких очарований
Преисполнен розовый канал!
Ах, не надо горечью утрат
Отравлять восторженные речи, —
Лишь бы дольше длился этот вечер,
Не померк сияющий закат.

***

Грозу мы замечаем еле;
Раскрыв удобные зонты,
В проспектах уличных ущелий
Не видим Божьей красоты,
И никому из нас не мнится
Вселявшая когда-то страх
Божественная колесница
С пророком в грозных облаках.
Ах, горожанин не услышит
Ее движенье никогда,
Вотще на аспидные крыши
Летит небесная вода!
И скудный мир, глухой и тесный,
Ревниво прячет каждый дом,
И гром весенний, гром чудесный
Не слышен в шуме городском.
Но где-нибудь теперь на ниве,
Средь зеленеющих равнин,
Благословляет бурный ливень
Насквозь промокший селянин.
И чувств его в Господней славе
Словами выразить нельзя,
Когда утихший дождь оправит
Веселой радуги стезя.

***

Р. М.

Мне все мнится, что видел когда-то
Я страны твоей древней пустырь, —
Неземные снега Арарата,
У снегов голубой монастырь.
Помню ветер твоих плоскогорий,
Скудных рощ невеселую сень,
Вековое покорное горе
Разоренных твоих деревень;
Помню горечь овечьего сыра,
Золотое я помню вино...



Всю историю древнего мира
Я забыл, перепутал давно.
И не все ли равно, что там было,
И что мне до библейских эпох,
Если медленно ты подходила
К перекрестку наших дорог,
Если встретясь, случайно и странно,
Знаю, завтра уйдешь уже прочь.
Не забыть твоей речи гортанной,
Твоих глаз ассирийскую ночь.

***

A. de K.

Вы говорили о Бретани.
Тысячелетняя тоска,
Казалось вам, понятней станет
Простому сердцу казака.
И все изведавший на свете,
Считать родным я был готов
Непрекращающийся ветер
У финистерских берегов.
Не все равно ль, чему поверить,
Какие страны полюбить;
Невероятные потери
На сутки радостно забыть.
И пусть ребяческой затее
Я завтра сам не буду рад, —
Для нас сегодня пламенеет
Над Сеной медленный закат,
И на густом закатном фоне
В сияющую пустоту
Крылатые стремятся кони
На императорском мосту.

***

Что мне столетия глухие,
Сюда пришедшему на час, —
О баснословной Византии
Руин лирический рассказ.



Мне все равно какая смена
Эпох оставила свой прах
Средь этих стен и запах тлена
В полуразрушенных церквах.
Запомню только скрип уключин,
Баркас с библейскою кормой,
Да гор шафрановые кручи
Над синей охридской водой.

***

Слились в одну мои все зимы,
Мои оснеженные дни.
Застыли розовые дымы,
Легли сугробы за плетни,
И вечер, как мужик в овине,
Бредет в синеющих полях,
Развешивая хрупкий иней
На придорожных тополях.
В раю моих воспоминаний,
В моем мучительном раю,
Ковровые уносят сани
Меня на родину мою.
Легка далекая дорога,
Моих коней неслышен бег,
И в каждой хате, ради Бога,
Готов мне ужин и ночлег.
А утром в льдистое оконце,
Рисуя розы по стеклу,
Глядит малиновое солнце
Сквозь замороженную мглу;
Я помню улицы глухие,
Одноэтажные дома...
Ах, только с именем «Россия»
Понятно слово мне «зима»!
Саней веселые раскаты,
И женский визг, и дружный смех,
И бледно-желтые закаты,
И голубой вечерний снег.



***

Наташе Т.

Выходи со мной на воздух,
За сугробы у ворот.
В золотых дрожащих звездах
Темносиний небосвод.
Мы с тобой увидим чудо:
Через снежные поля
Проезжают на верблюдах
Три заморских короля;
Все они в одеждах ярких,
На расшитых чепраках,
Драгоценные подарки
Держат в бережных руках.
Мы тайком пойдем за ними
По верблюжьему следу,
В голубом морозном дыме
На хвостатую звезду;
И с тобой увидим после
Этот маленький вертеп,
Где стоит у яслей ослик,
И лежит на камнях хлеб.
Мы увидим Матерь Божью,
Доброту Ее чела, —
По степям, по бездорожью
К нам с Иосифом пришла;
И сюда, в снега глухие,
Из полуденной земли,
К замороженной России
Приезжают короли
Преклонить свои колени
Там, где благостно светя,
На донском душистом сене
Спит чудесное Дитя.

***

Флагами город украшен
В память победной войны.
Старая дружба, без нашей
Сразу забытой страны.



Да и нужна ли награда
Людям, распятым судьбой?
Выйду на праздник парада
Вместе с парижской толпой.
Увижу, как ветер полощет
Флаги в срывах дождя,
Круглую людную площадь,
Пеструю свиту вождя.
Запомню неяркое пламя
В просвете громадных ворот, —
Все, что оставил на память
Здесь восемнадцатый год.

***

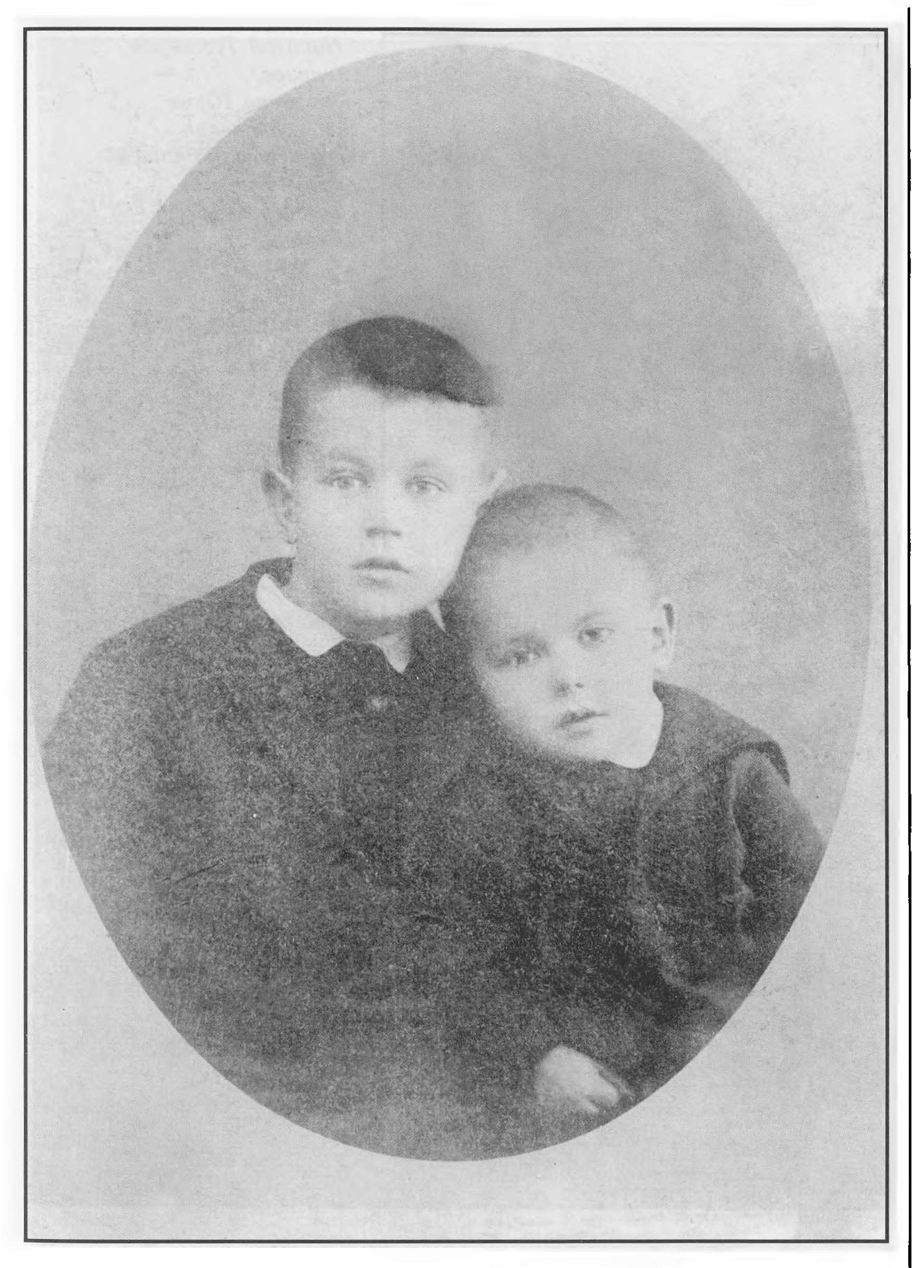
Задыхаясь, бежали к опушке,
Кто-то крикнул: устал, не могу!
Опоздали мы — раненный Пушкин
Неподвижно лежал на снегу.
Слишком поздно опять прибежали,
Никакого прощенья нам нет, —
Опоздали, опять опоздали
У Дантеса отнять пистолет.
Снова так же стояла карета,
Снова был ни к чему наш рассказ,
И с кровавого снега поэта
Поднимал побледневший Данзас.
А потом эти сутки мученья,
На рассвете несдержанный стон,
Ужасающий крик обреченья,
И жены летаргический сон.
Отлетела душа, улетела,
Разрешился последний вопрос.
Выносили друзья его тело
На родной петербургский мороз,
И при выносе мы на колени
Становилися прямо в сугроб;
И Тургенев, один лишь Тургенев
Проводил самый близкий нам гроб,

И не десять, не двадцать, не тридцать, —
Может быть, уже тысячу раз
Снился мне и еще будет сниться
Этот чей-то неточный рассказ.

***

Ив. Лукашу

Все ветер, да ветер. Все ветры на свете
Трепали твою седину.
Все те же солдаты — любимые дети —
Пришедшие в эту страну.
Остался сзади и бездны, и кручи,
Дожди и снега непогод.
Последний твой — самый тяжелый и лучший,
Альпийский окончен поход.
Награды тебе не найдет император,
Да ты и не жаждешь наград, —
Для дряхлого сердца триумфы возврата
Уже сокрушительный яд.
Ах, Русь — Византия, и Рим, и Пальмира!
Стал мир для тебя невелик.
Глумились австрийцы: и шут, и задира,
Совсем сумасшедший старик.
Ты понял, быть может, не веря и плача,
Что с жизнью прощаться пора.
Скакала по фронту соловая кляча,
Солдаты кричали «ура».
Кричали войска в исступленном восторге,
Увидя в солдатском раю
Распахнутый ворот, на шее Георгий —
Воздушную немощь твою.



Николай Туроверов (слева) с братом Александром.



Николай Туроверов (справа), его жена Юлия Александровна с дочерью Наташей и Александром Туроверовым. Сербия.

Сначала Вам

«Покидал я в апреле станицу,
На войну уходя наконец,
На шинели погоны [illegible]
У моста наш станичный кузнец
По ночному звякали подковы
И глядели казачки мне вслед —
И станица казалася новой
Атаманцу семнадцати лет
[illegible]
Казаки, расставаясь, не плачут,
Не вытягают разлуку в слезах —
Что же слёзы внезапные значут
На весёлых отцовских глазах?
Почему матушкины руки
Так дрожат, холодны как лёд?
Иль меня уже смерть на-походе
Забрала и назад не вернёт?
Ах, отцовская горькая думка,
З потупленным спокойствием мать.
Я в свои беззаботные сумки
Положил [illegible] и тетрадь
Эх ты — ещё [illegible] [illegible],
[illegible] со мною в поход,
И, не чувствуя лишнего груза,
Кобылица рванулась вперёд

[illegible]

Автограф Николая Туроверова.



Николай Туроверов. Париж. 20-е годы.



Николай (справа) и Александр Туроверовы.

Николай Туроверов и его жена Юлия.

LIVRET UNIVERSITAIRE
INDIVIDUEL

N° du Dossier

Студенческий билет Николая Туроверова.

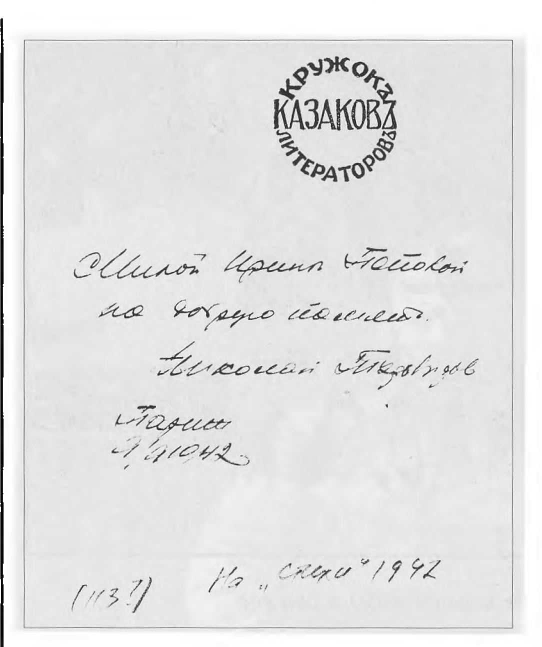
Николай Туроверов во время службы в Иностранном легионе.



Николай Туроверов в Африке.

Николай Туроверов (четвертый в первом ряду) в отряде Иностранного легиона.

Во время службы в Иностранном легионе.



Дарственная надпись Николая Туроверова Ирине Поповой (Туроверовой). 1942 г.

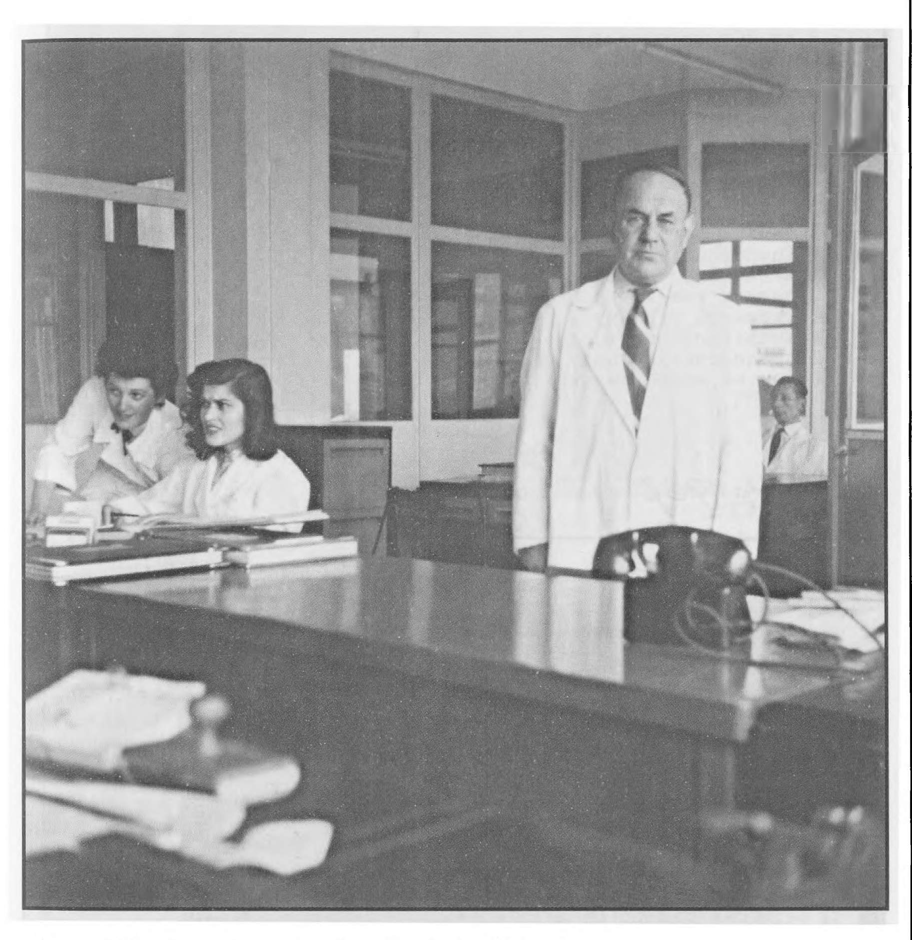
Николай Туроверов на отдыхе.



Слева направо: Мария Ивановна Лифарь (сестра Ирины Ивановны Туроверовой), дочь Николая Туроверова Наталья и Ирина Ивановна Туроверова.



Николай Туроверов.



Николай Туроверов на работе. Париж. 50-е годы.

ВОЕНЩИНА

I

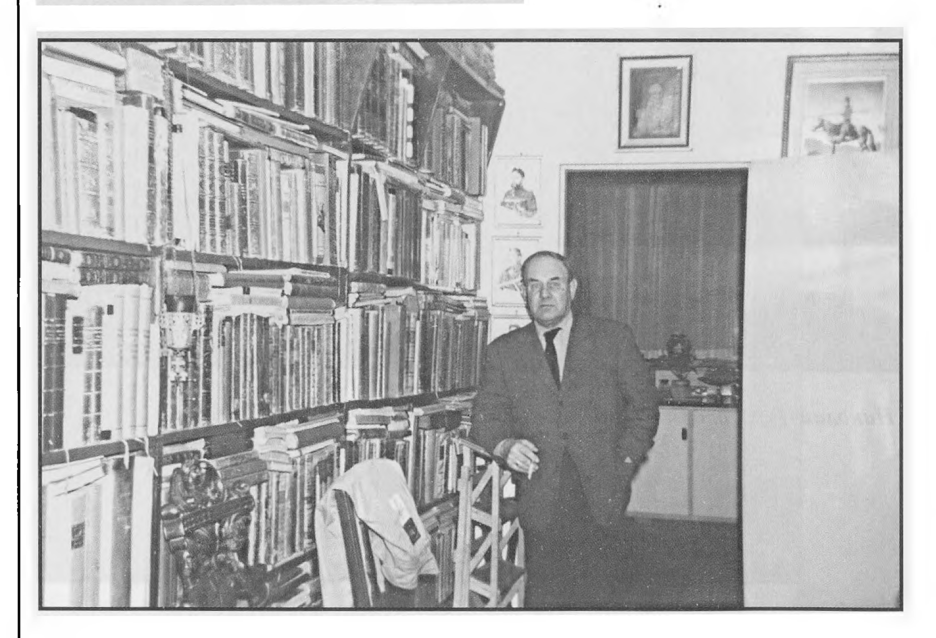
Я из Африки принес
Голубую лихорадку.
Я в Париж, к себе, привез
Деревянную лошадку.
Иностранный легион.
Первый конный полк. Конечно,
Самый лучший эскадрон,
На рысях ушедший в вечность.

II

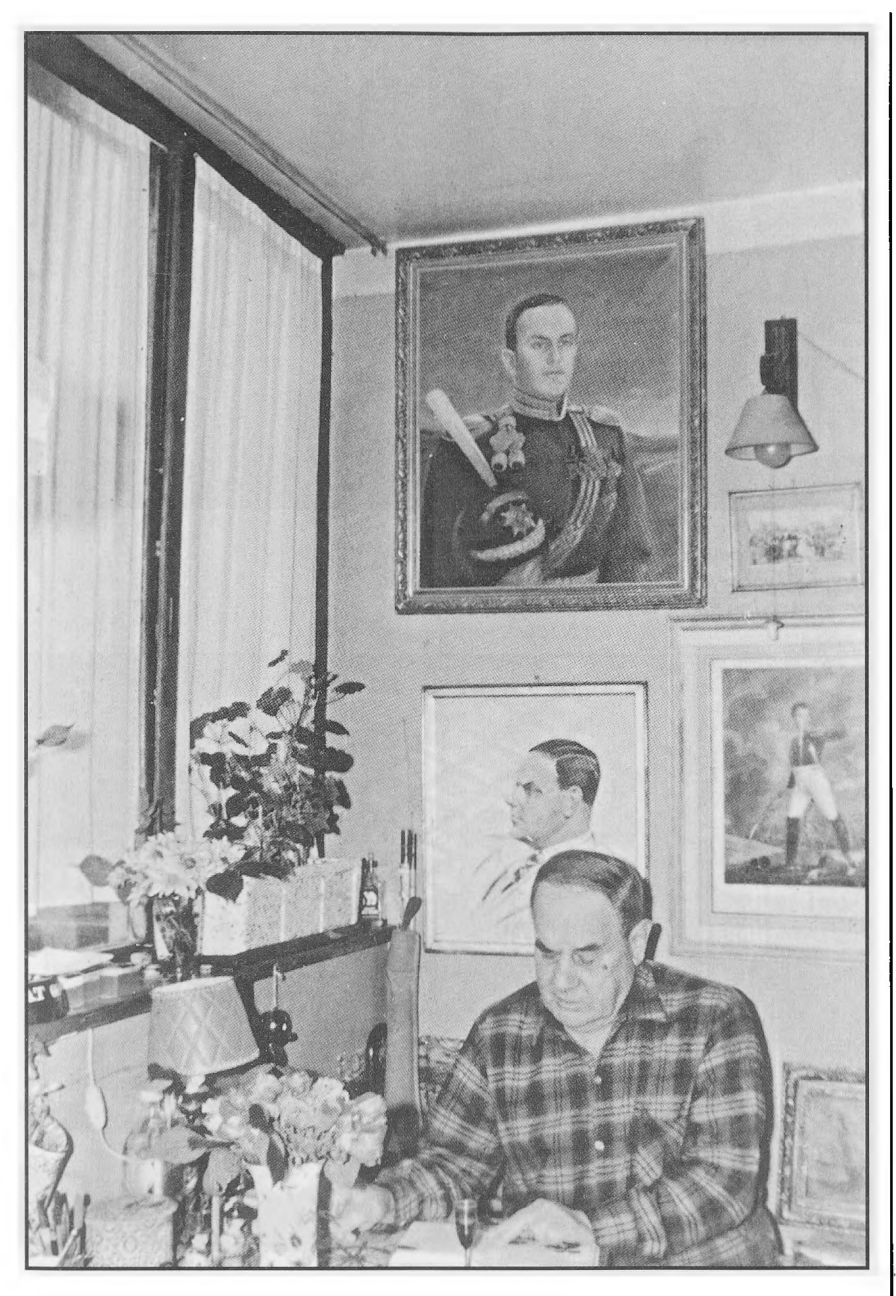
Восемь строчек завещанья
К уцелевшим другам, что-б
В неизбежный день прощанья
Положили мне на гроб
Синеглазую фуражку
Атаманскаго полка
И прадедовскую шашку
С лентой алой темляка.

24 февр 1967

Автограф Николая Туроверова. 1967 г.



Николай Туроверов в своей квартире в Аньере.



Николай Туроверов в своей квартире в Аньере.



Слева направо: Ирина Одоевцева,
Ирина Туроверова и писатель Сергей Жаба
на литературном вечере в Париже.

Николай Туроверов и его племянники. Слева направо: Николай и Михаил.



Ирина Ивановна Туроверова.

Сообщение о кончине Николая Туроверова. (Военно-исторический вестник.-Париж.-1972.-№40).

От правления Общества Ревнителей Русской Военной Старины

Правление О.Р.Р.В.С. с глубоким прискорбием извещает о кончине 23 сентября 1972 г. одного из основателей Общества: подъесаул л.-гв. Атаманского Е.И.В. Наследника Цесаревича полка

Николая Николаевича ТУРОВЕРОВА

талантливого поэта и доблестного воина.

Членские взносы (минимум 5 фр. фр.), плату за подписку (10 фр. фр. в год) и пожертвования в издательский фонд, направлять Вере Аркадьевне Щитковой:

[illegible]

[illegible] случае следует добавить 2 фр. фр., которые почта вычитывает от получателя;

— переводом на: Compte Chèques Postaux n° 20 883 72 — Paris. Madame Stchitkoff.

На складе Общества имеются еще номера Вестника, начиная с № 8. Цена номера 5 фр. франков.

МЕДАЛИ ОБЩЕСТВА

Продолжается прием заказов (с обязательным приложением соответствующей суммы) на оставшиеся в ограниченном количестве медали Общества, а именно: 1) С.П.Б. (1703-1953) — только серебряные, 2) Обороны Севастополя (1855-1955), бронз. 3) Полтавы (1709-1959) бронзовые. 4) Отечественной Войны (1812-1962) бронзовые. 5) Орд. св. Георгия (1769-1969) серебряные. Цены на бронзовые медали: 35 фр. фр., на серебряные: 120 фр. фр.

Переписку по делам Общества просят направлять по адресу Максимилиана Васильевича Штенгера: M. Stenger, 6, sq. Emmanuel Chabrier, 75017 - Paris.

По делам редакции Сергею Павловичу Андоленко: M. Andolenko, 3, rue Villebois-Mareuil, 94300 - Vincennes. France.

Заказы на медали и старые номера Вестника направлять Вере Аркадьевне Шитковой.

От Редакции

«СТО КРАТ СВЯЩЕН СОЮЗ МЕЧА И ЛИРЫ»

Общество Р.Р.В.С. выпускает сборник «Сто крат священ союз меча и лиры». В нем представлено, большей частью избранными четверостишиями, более 600 од, поэм, песен и стихов, посвященных России, ее Царям и полководцам, командирам, солдатам, полкам, войнам, походам и боям. Цель его запечатлеть душу русской армии, такой какой она была «От Петра до Николая».

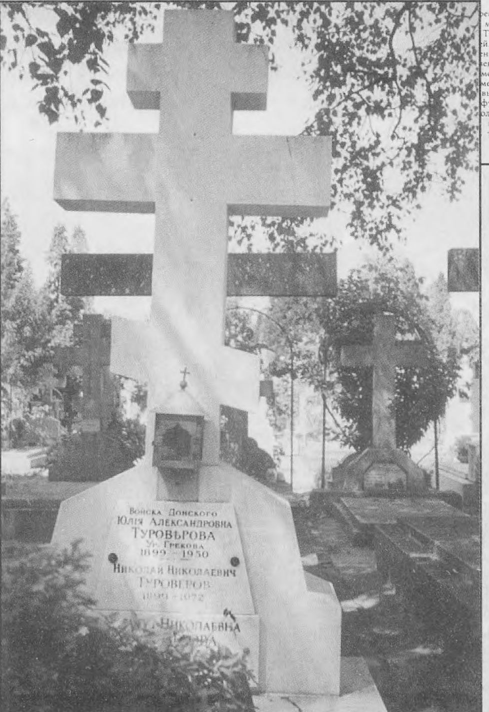
Сборник издается в формате Вестника, но в художественной обложке, с иллюстрациями и заставками. Весь доход с издания поступит в издательский фонд «Военно-Исторического' Вестника». Цена 12 фр. фр. (с пересылкой). Заказы с приложением стоимости можно посылать теперь же по адресу: Madame Stchitkoff. 156, Boulevard Voltaire. 92600 - Asnières. France.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

...есом прочел описание русско... музея в Париже. Хочу доба... Тарб существует международ...й. В настоящее время в нем ...н разных государств. Зала по...еку украшена парадной фор...мских гусар, полковника Н. Н. ...мертью храбрых во главе род... выставлены того же полка ши... фуражки, цветная и защитная. ...ольшой алый флюгер с надпи... гус. Изюмского полка». Па... теряет тем, что при ней нет ни султана на шапке, ни перевязи с лядункой, ни гусарского пояса. Все мои попытки достать их не увенчались успехом. В этой же витрине находится походная форма 17-го гусарского Черниговского полка. Нам, Изюмцам, несколько грустно, что формы наши так далеко от центра, но мы утешаемся тем, что они украшают Тарбский музей.

К. Розеншильд-Паулин

Да позволено будет нам добавить, что без усилий К. Н. Розеншильд-Паулина, получивший теперь мировую известность Гусарский Музей в Тарбе, не имел бы русской витрины и пожелаем, чтобы среди читателей нашего вестника нашлись бы лица имеющие возможность ее пополнить.



Могила Николая Туроверова на кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа.

Н.ТУРОВѢРОВЪ

СТИХИ

1939

***

Поедем, корчмарка,
к нам на тихий Дон.

Ах, не целуй меня ты снова,
Опять своей не называй, —
От моего родного крова
Не уводи, не отрывай.
Тебе мой двор уныл и тесен,
Но, Боже мой, как страшно мне
Поверить зову этих песен,
С тобой уехать на коне.
Бери любовь мою в подарок,
Как брал ее ты у других
Тобой загубленных корчмарок
Среди ночлегов кочевых.
Тебя потом я вспомню с плачем,
Слезой горючей изойду,
Но за твоей судьбой казачьей
Я не пойду, я не пойду.

***

На солнце, в мартовских садах,
Еще сырых и обнаженных,
Сидят на постланных коврах
Принарядившиеся жены.
Ах, как недолог бабий век,
Девичий век того короче, —
Парчовый бабкин кубелек
На внучке нов еще и прочен.



Последний лед в реке идет,
И солнце греет плечи жарко;
Старшинским женам мед несет
Ясырка — пленная татарка.
Весь город ждет, и жены ждут,
Когда с раската грянет пушка,
Но в ожиданьи там и тут
Гуляет пенистая кружка.
А старики все у реки
Глядят толпой на половодье —
Из-под Азова казаки
С добычей приплывут сегодня.
Моя река, мой край родной,
Моих прабабок эта сказка,
И этот ветер голубой
Средневекового Черкасска.

***

Ворожила ты мне, колдовала,
Прижимала ладонью висок,
И увидел я воды Каяла,
Кагальницкий горячий песок.
Неутешная плакала чайка,
Одиноко кружась над водой, —
Ах, не чайка — в слезах молодайка, —
— Не вернулся казак молодой;
Не казачка — сама Ярославна
Это плачет по князю в тоске, —
Все равно, что давно, что недавно,
Никого нет на этом песке.

***

Дуй, ветер, дуй! Сметай года,
Как листьев мертвых легкий ворох.
Я не забуду никогда
Твой начинающийся шорох,



Твоих порывов злую крепь
Не разлюблю я, вспоминая
Далекую, родную степь,
Мою от края и до края.
И сладко знать: без перемен
Ты был и будешь одинаков.
Взметай же прах Азовских стен,
Играй листвою буераков,
Кудрявь размах донской волны,
Кружи над нею чаек в плаче,
Сзывай вновь свистом табуны
На пустырях земель казачьих,
И, каменных целуя баб
В свирепой страсти урагана,
Ковыльную седую хлябь
Гони к кургану от кургана*.

***

Звонит, как встарь, над Манычем осока,
В степях Хопра свистит седой ковыль,
И поднимает густо и высоко
Горячий ветер розовую пыль.
Нет никого теперь в моей пустыне,
Нет, никого уже мне не догнать;
Казачьи кости в голубой полыни
Не в силах я, увидя, опознать.
Ни встреч, ни ожидающих казачек;
Который день — станицы ни одной.
Ах, как тоскливо этот чибис плачет
И все летит, кружася, надо мной.
Спешит, спешит мой конь, изнемогая,
Моя судьба, как серна, в тороках, —
Последняя дорога, роковая,
Неезженый тысячелетний шлях.

---

* Это стихотворение вошло в текст поэмы брата поэта А.Н.Туроверова «Ветер» // «Путь Казачества».-1928.-28(121); сообщено К.Н. Хохульниковым.



***

П. Н. Краснову

Не дано никакого мне срока,
Вообще, ничего не дано,
Порыжела от зноя толока,
Одиноко я еду давно;
Здравствуй, горькая радость возврата,
Возвращенная мне, наконец,
Эта степь, эта дикая мята,
Задурманивший сердце чабрец, —
Здравствуй, грусть опоздавших наследий,
Недалекий, последний мой стан,
На закатной тускнеющей меди
Одинокий, высокий курган!

***

Уехал, уехал, уехал, —
Остаться с тобой не хотел,
Жалмерка — казачья утеха,
С лицом побелевшим, как мел.
Пришло твое страшное время —
Бежала в глубоком снегу,
Держась за холодное стремя,
Целуя его на бегу.
Качнулась станичная площадь
В твоих потемневших глазах, —
Рванулась знакомая лошадь,
Исчезла в вечерних снегах.
Намокнет слезами подушка,
Постель холодна, холодна.
Игрушка, казачья игрушка, —
Жалмерка — чужая жена.

***

Ю. Т.

Что за глупая затея
Доверяться ворожбе,
Что расскажет ворожея
Обо мне и о тебе?



Что она еще предскажет,
Если вдруг — как мы вдвоем —
Дама пик случайно ляжет
Рядом с этим королем;
Иль во тьме кофейной гущи
Распознаешь ты меня
В день последний, в день грядущий,
В пекле адского огня.
Плакать рано, но поплачь-ка
Ты над этой ворожбой,
Моя милая казачка,
Черноокий ангел мой.

***

Опять над синью этих вод,
Таких прозрачных и студеных,
Порхает листьев хоровод,
Совсем по-летнему зеленых.
Еще не осень, но злодей —
Восточный ветер — рвет все листья,
И зори стали холодней,
И продолжительней, и мглистей.
А в полдень солнце горячо;
Взлетают грузно перепелки,
И отдает слегка в плечо
Чудесный бой моей двустволки.
Еще не осень, но уже
В дыму лежит моя станица,
И, возвращаясь по меже,
Теперь мне надо торопиться.
И птицы больше не поют
Над опустевшими полями,
И по-осеннему уют
Царит в столовой вечерами.
Опять пора моя, опять —
Удел блаженный и жестокий —
Косноязычно повторять
Мне музой сказанные строки.



***

Над весенней водой, над затонами,
Над простором казачьей земли,
Точно войско Донское — колоннами
Пролетали вчера журавли.
Пролетая, печально курлыкали,
Был далек их подоблачный шлях.
Горемыками горе размыкали
Казаки в чужедальних краях.

***

В огне все было и в дыму —
Мы уходили от погони.
Увы, не в пушкинском Крыму
Тогда скакали наши кони.
В дыму войны был этот край,
Спешил наш полк долиной Качи,
И покидал Бахчисарай
Последний мой разъезд казачий.
На юг, на юг. Всему конец.
В незабываемом волненьи,
Я посетил тогда дворец
В его печальном запустенье.
И увидал я ветхий зал —
Мерцала тускло позолота, —
С трудом стихи я вспоминал,
В пустом дворце искал кого-то;
Нетерпеливо вестовой
Водил коней вокруг гарема, —
Когда и где мне голос твой
Опять почудится, Зарема?
Прощай, фонтан холодных слез, —
Мне сердце жгла слеза иная —
И роз тебе я не принес,
Тебя навеки покидая.



***

И. И. Д.

Опять, опять на Елисейских
Полях стоишь ты одинок.
Течет в охране полицейских
Машин стремительный поток,
Течет, бензинным ветром вея.
На взгорье арка — и в пролет
Сквозит, торжественно синея,
Великолепный небосвод —
Триумф чужих великолепий —
Наполеоновский полет,
А где-то там родные степи,
Кубань течет, казак поет,
Казачка внемлет его песне,
— И вот, на зло небытию,
С тем казаком поешь ты вместе,
Поешь про родину свою.
И по полям в закатном блеске,
Пугая всех, как некий черт,
Идешь в малиновой черкеске
По направлению Конкорд.

СОН

Моему брату

1

Опять все тоже сновиденье,
Давным-давно знакомый сон —
Волнующее возвращенье
На незнакомый почти Дон.
О, власть моих воспоминаний,
О, эти, будто наяву,
Летящие стрелою сани
В божественную синеву



Снегов родных, снегов без края,
И ветер, режущий лицо,
И этот крик, когда, взбегая
На невысокое крыльцо,
В дверях родного дома встречу
Отца и плачущую мать.
Ах, Боже мой, что я отвечу,
Что я смогу им рассказать!

2

Утихнет первое волненье
Моей неистовой души,
И музы сдержанное пенье
Раздастся в варварской глуши
Страны, знакомой ей впервые,
Но где я в детстве пережил
Уже с ней встречи роковые
У запорошенных перил
Беседки над замерзшим садом.
Как много лет назад, она
Опять со мною будет рядом
Стихами бредить у окна.
Нам отчий дом не будет тесен,
Чудесен лад нежданных строк.
— Тебе, мой край, из новых песен
Сплету нетленный я венок.

3

Искать я буду терпеливо
Следы казачьей старины:
В пыли станичного архива,
В курганах древней целины,
В камнях черкасского раската,
На приазовских островах,
В клинке старинного булата,
В могильных знаках и словах,
И ляжет путь моих раскопок,
Когда исполнится пора,

От Волги вплоть до Перекопа,
И от Азова до Хопра.
Никем неписаных историй
Найду потерянную нить, —
Пожить бы только на просторе,
Подольше только бы пожить!

4

Но страшный призрак катастрофы
Уже стучится у дверей, —
Опять знакомый путь Голгофы
Далекой юности моей:
Во тьме ползущие обозы,
Прощанье ночью у крыльца,
И слезы, сдержанные слезы
Всегда веселого отца;
Опять разлука, и погони,
И чьи-то трупы на снегу,
И эти загнанные кони
На обреченном берегу;
Я снова скроюсь в буераки,
В какой-нибудь бирючий кут,
И там меня в неравной драке
Опять мучительно убьют.

***

Свою судьбу я искушал —
В те дни всего казалось мало, —
Я видел смерть и с ней играл,
И смерть сама со мной играла.
Была та дивная пора
Неповторимым искушеньем,
И наша страшная игра
Велась с жестоким упоеньем.
Всепожирающий огонь
Испепелил любовь и жалость;
Сменялся бой, менялся конь,
Одна игра лишь не менялась.



Но был таинствен мой удел
Певца исчезнувшего края,
И я чудесно уцелел
В руинах рухнувшего рая.
— И вот, тяжелый жребий свой,
У смерти отнятую лиру,
Влачу усталою рукой
По непонятному мне миру.

***

«Закат над нами распростер...»
— Ах, как фальшив твой стиль высокий.
Как трудно развести костер
Из полувысохшей осоки.
Сидим вдвоем на берегу,
У ног текут донские струи, —
Я больше верить не могу
В твои слова и поцелуи.
Кладу в горячую золу
На ужин нам с тобой картошку,
А ты твердишь, что на балу
Все оценили твою ножку;
Пылала на твоем плече
Неувядающая роза,
И мчал тебя на лихаче
Известный всем богач Морозов.
Но я не помню ничего,
Не верю твоему кокетству.
Не знаю даже, от кого
Ты мне досталась по наследству.
Легко покинешь ты меня,
Как до меня других бросала, —
Я знаю, этого огня
Тебе покажется так мало,
И этот варварский пейзаж
Тебе, наверное, наскучит —
Уже нашла ты рифму: паж,
Считая эту рифму лучшей.

Ах, уходи в свои края
Моя чудесная обуза, —
Любовь последняя моя,
Меня покинувшая муза.

II

***

Франции

Жизнь не начинается сначала,
Так не надо зря чего-то ждать;
Ты меня с улыбкой не встречала
И в слезах не будешь провожать.
У тебя свои, родные, дети,
У тебя я тоже не один,
Приютившийся на годы эти,
Чей-то чужеродный сын.
Кончилась давно моя дорога,
Кончилась во сне и наяву, —
Долго жил у твоего порога,
И еще, наверно, поживу.
Лучшие тебе я отдал годы,
Все тебе доверил, не тая, —
Франция, страна моей свободы —
Мачеха веселая моя.

***

Е. де Ж.

— И вот, опустится последний мрак,
И сердце перестанет биться.
Спокойствие, спокойствие, — но как
Спокойствием мне этим заразиться,



Когда неизлечимо заражен,
Еще отравлен бешеною кровью,
Когда люблю еще вино и жен
Веселой полнокровною любовью.
Куда бежать мне от своих страстей?
О стену чью мне головою биться?
Иль до последних, недалеких дней
Не измениться, не угомониться.

***

Только дым воспоминаний,
Или все уже, как дым,
И никто из нас не станет
Тем, чем был он молодым?
И не будет больше лестниц
Потаенных и дверей,
Ожидающих прелестниц
Первой юности твоей;
И превыше всех над ними
Незакатная звезда,
Чье потом запомнишь имя
Навсегда ты, навсегда;
Пить вино не будешь с другом
За беседой у огня,
Не сожмет твоя подпруга
Непокорного коня,
Безрассудочно и смело
Ты не схватишься за меч,
А стареющее тело
Будешь бережно беречь,
Ничему уже не веря
В мире страшном и пустом, —
Постучится в твои двери
Смерть тогда своим крылом.



***

Едва я жизнь узнал сполна,
Как ты уже ушел от жизни, —
Но злая воля не дана
Потусторонней укоризне.
И вот, средь пылкой суеты
Моих беспутных увлечений,
Со мною рядом будешь ты
С загробным холодом сомнений.
Пройдет ли год иль десять лет, —
Все та же будет дружба наша,
Все тот же мой тебе привет,
Вином наполненная чаша.

***

Откуда этот непонятный страх
В твоих прекрасно сделанных стихах,
И эта вечная трагическая твердь,
И, вечно с ней рифмуемая, смерть,
И этих ангелов испуганный полет,
И это сердце хладное, как лед?
— Иль не пришла еще твоя пора
И продолжается унылая игра.

***

«В скитаньях весел будь и волен,
Терпи и жди грядущих встреч, —
Тот не со мной, кто духом болен,
Тому не встать, кто хочет лечь.
Простор морей, деревья пущи
И зреющий на ниве злак
Откроют бодрым и идущим
Благословляющий Мой знак.
В лицо пусть веет ветер встречный, —
Иди — и помни: Я велел»,—
Так говорил Господь, и млечный
На темном небе путь блестел.

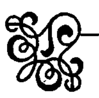
***

Опять весенний ветер,
И яблони в цвету,
Опять я не заметил,
Что лишний час иду,
Кружу в знакомом поле,
Не попаду домой, —
Опять я пьян от воли,
От дали голубой;
К чему воспоминанья
Черед минувших дней —
Скитанья и страданья
Всей юности моей,
Ненужные сомненья,
Мученья без конца?
В душе весна, да пенье
Веселого скворца.

***

Т. Н. М.

Коснулась ты заветных струн
Моей давно молчавшей лиры;
Забыл я птицу Гамаюн,
Казалось, нежные зефиры
И вдохновений легкий рой
Уже не властны надо мной.
Но ты вошла под сельский кров
Ко мне неслышными шагами, —
На милый зов твоих стихов
Ответить должен я стихами,
Подняв в своей глуши стакан
Во имя пушкинских Татьян.
Есть для всего какой-то срок,
Но не подвластны нам все сроки,
И вот, у музы взяв венок,
Я рву его на эти строки,
На запоздалый мой привет,
На мой взволнованный ответ.



***

Кончалось веселое лето
В дожде опадающих звезд.
Все лето ждала ты ответа,
Ответ мой был ясен и прост —
Навеки, навеки, до гроба,
С шестнадцати лет — навсегда.
Не знали, не ведали оба
В какие уходим года;
Еще ничего мы не знали
В счастливых бессонных ночах.
О, как высоко мы взлетали
С тобой на гигантских шагах.

***

Осыпается сад золотой,
Затуманился сад голубой,
За окном твоим черную ель
Замела золотая метель.
Ты все смотришь на листьев полет,
Ты все веришь, что сын твой придет,
Возвратится из странствий, — и вот
У твоих постучится ворот.
Ты до вечера ждешь у окна,
На дорогу выходишь одна,
Желтых листьев метель над тобой —
Недалек твой последний покой.

***

В саду над этой урной,
Над кущей этих роз,
Пронесся дождик бурный
Потоком женских слез;
Шумел внезапный ветер
Березой у окна,



Теперь на целом свете
Осталась я одна.
Кукушечка — подружка,
Одна я навсегда,
Кукуй, моя кукушка,
Считай мои года.

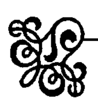
***

Вечер был мутнее дыма,
Ветер снежен, путь далек,
И простого пилигрима
Приютить велел пророк.
Я вошел в твое жилище,
Обогрелся у огня;
Принесла к огню ты пищу,
Не взглянула на меня.
Знаю, я тебе не пара,
Твой отец богатый бей,
От Валоны до Скадара
Равных нет ему людей.
У бродяги-иноверца
Нет на свете ничего,
Только сердце, только сердце
Однолетки твоего.
Завтра я уеду рано,
Не проснется твой отец.
Ты услышишь каравана
Невеселый бубенец.

***

Р. М.

Просить, просить и получать отказ,
Просить у каждого прохожего полушку
И в тысячный, быть может, раз
Протягивать пустую кружку.
Не все равно ли — зрячий иль слепец,
Молящий тихо, громко ли просящий;



Не все равно ли — кто он, наконец,
У подворотни с кружкою стоящий,
Напрасно ожидающий чудес.
О, твой романс, старательно забытый: —
Мадридский нищий, щедрость Долорес,
И поцелуй красавицы Пепиты.

***

Ты с каждым годом мне дороже,
Ты с каждым годом мне родней,
Ты никогда понять не сможешь
Любви безвыходной моей.
Ты не оценишь эту нежность,
Названия которой нет,
Всю обреченность, безнадежность
Моих однообразных лет,
Ты обрекла меня на муку,
Но буду славить вновь и вновь
Я нашу страшную разлуку,
Неразделенную любовь.

***

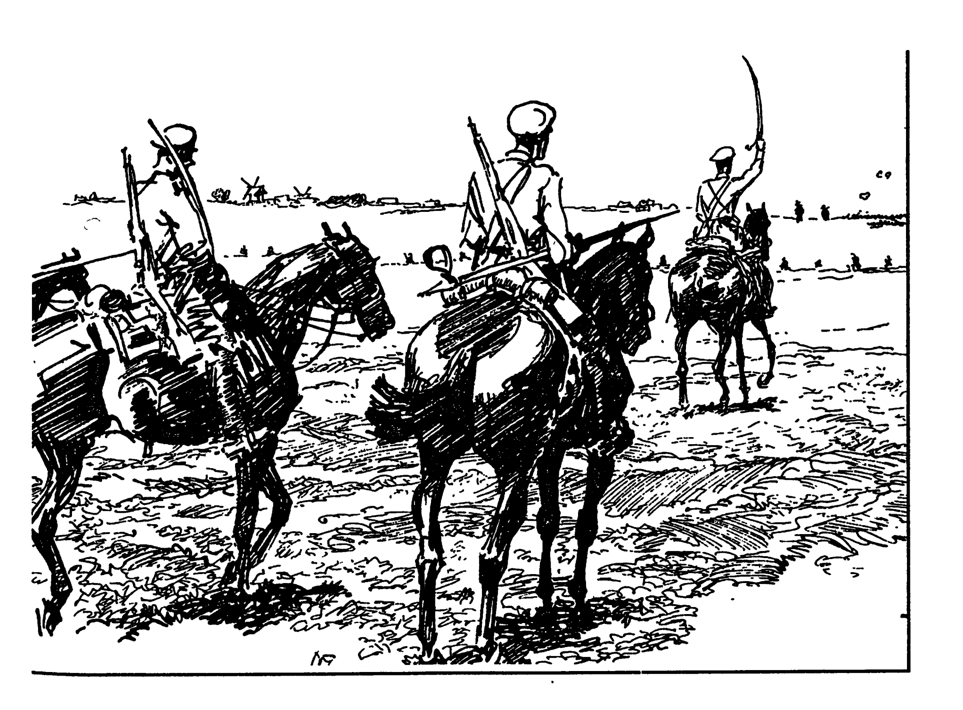
Все те же убогие хаты,
И так же не станет иным
Легко уходящий в закаты
Над хатами розовый дым.
Как раньше — при нашем отъезде —
Все так же в российской ночи
Мерцают полярных созвездий
В снегах голубые лучи.
И с детства знакомые елки
Темнеют в промерзлом окне,
И детям мерещатся волки,
Как раньше мерещились мне.
Покоя никто не нарушит
В снегах погребенном краю,
И сонные детские души
Ночуют у Бога в раю.

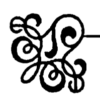
***

Сердце сердцу весть подает,
Глупое сердце все еще ждет,
Все еще верит в верность твою,
В какую-то нежность в далеком краю;
Все о тебе сердцу хочется петь, —
Бедное сердце не хочет стареть.

***

Возвращается ветер на круги свои,
Повторяются дни и мои, и твои,
Повторяется все — только наша любовь
Никогда не повторится вновь.





***

О, как нам этой жизни мало,
Как быстро катятся года.
Еще одна звезда упала,
Сияв над нами, отсияла —
Не засияет никогда.
Но береги наш дар случайный,
Идя с другим на брачный пир, —
Возвышенный, необычайный,
Почти неощутимый, тайный —
Лишь нам двоим доступный мир.

Николай ТУРОВѢРОВЪ

СТИХИ

книга четвертая

ПАРИЖЪ.

1942

К МУЗЕ

Какой мой долг перед тобой, когда
Не год, не два, а долгие года,
С рождения, быть может, мы с тобой
Обручены таинственной судьбой.
Как не любить друг друга нам, когда
Не виделись с тобой мы никогда.
Ах, не любовь! Тому названья нет,
Что оставляет свой бессмертный след,
Что раз найдя, мы жадно ищем вновь:
Животворящее дыхание стихов.

1941

I

***

Жизнь не проста и не легка.
За спицею мелькает спица.
Уйти б на юг, и в казака
По-настоящему влюбиться.
Довольно ждать, довольно лгать,
Играть самой с собою в прятки.
Нет, не уйти, а убежать,
Без сожалений и оглядки,
Туда, где весело живут,
Туда, где вольные станицы,
И где не вяжут и не ткут
Своих нарядов молодицы;
Где все умеют пить и петь,
Где муж с женой пирует вместе,



Но туго скрученная плеть
Висит на самом видном месте.
Ах, Дон, Кубань — Тмутаракань!
А я в снегах здесь погибаю.
Вот Лермонтов воспел Тамань,
А я читаю и мечтаю,
И никуда не убегу...
Твердя стихи о Диком Поле,
Что знаю я и что могу,
Живя с рождения в неволе.
И мой недолгий век пройдет
В напрасном ожиданьи чуда,—
Московский снег, московский лед
Меня не выпустят отсюда.

1940

ГОГОЛЬ

Наташе Туроверовой

Поднимал все выше ты и выше
Свой бунчук, зовя ко мне мальчат —
Однолеток, уличных мальчишек,
Жаждущих сражений казачат.
И в наш сад за низкую ограду
Уводил меня ты и гостей
На кровопролитную осаду
Неприступных польских крепостей.
Снежный прах летел в саду над нами,
Мы дралися из последних сил.
Детскими моими снами
Ты легко потом руководил.
По ночам внезапно страшный запах
Гари наполнял наш дом,
И меня — наследника Остапа
Распинали ляхи над костром;
Но еще не мог в страданьи диком,
Как Остап, терпеть я до конца,



И будил своим постыдным криком
Безмятежно спящего отца.
Кончились мальчишеские драки,
Ты подвел немедля мне коня:
С казаками в конные атаки
Бросил, не задумавшись, меня.
Полюбить заставил бездорожье,
Полюбить заставил навсегда
Новое донское Запорожье,
Юность опалившие года,
Мне до смерти памятные грозы.
Позже, в Севастопольском порту,
Ты сурово вытер мои слезы
И со мной простился на борту
Корабля, плывущего в изгнанье,
Корабля, плывущего на юг.
Ты мне подарил воспоминанье,
С детства неразлучный друг,
Память подарил такую,
Без которой невозможно жить.
По тебе я все еще тоскую,
Не могу тоску свою запить,
Не могу никак угомониться
И поверить просто, без обид,
Что любая маленькая птица
Через Днепр легко перелетит.

1939

1914 ГОД

Казаков казачки проводили,
Казаки простились с Тихим Доном.
Разве мы — их дети — позабыли,
Как гудел набат тревожным звоном?
Казаки скакали, тесно стремя
Прижимая к стремени соседа.
Разве не казалась в это время
Неизбежной близкая победа?

О, незабываемое лето!
Разве не тюрьмой была станица
Для меня и бедных малолеток,
Опоздавших вовремя родиться?

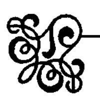
1939

КРЫМ

Уходили мы из Крыма
Среди дыма и огня,
Я с кормы все время мимо
В своего стрелял коня.
А он плыл, изнемогая,
За высокою кормой,
Все не веря, все не зная,
Что прощается со мной.
Сколько раз одной могилы
Ожидали мы в бою.
Конь все плыл, теряя силы,
Веря в преданность мою.
Мой денщик стрелял не мимо,
Покраснела чуть вода...
Уходящий берег Крыма
Я запомнил навсегда.

***

Богородице молилася —
Вся слезами изошла,
Головой о стенку билася —
К колдуну в аул пошла.
Замерзала за станицею,
Погибала на пути...
Обернись, желанный, птицею —
Над станицей пролети,
Опустись на подоконнике
И в окошко постучи,
Не на крыльях — так на конике,
Снег взметая, прискачи.



Пролетают низко голуби,
Не летит мой голубок...
Под горою в новой проруби
Терек темен и глубок.

1940

АЗОВ

Эту землю снова и снова
Поливала горячая кровь.
Ты стояла на башнях Азова
Меж встречающих смерть казаков.
И на ранней росе, средь тумана,
Как молитва, звучали слова:
За Христа, за Святого Ивана,
За казачий Престол Покрова,
За свободу родную, за ветер,
За простую степную любовь,
И за всех православных на свете,
И за свой прародительский кров.
Не смолкало церковное пенье,
Бушевал за стеною пожар,
Со стены ты кидала каменья
В недалеких уже янычар,
И хлестала кипящей смолою,
Обжигаясь сама, и крича...
Дикий ветер гулял над тобою
И по-братски касался плеча:
За Святого Ивана, за волю,
За казачью любовь навсегда!...
Отступала, бежала по полю
И тонула на взморье Орда.
Точно пьяная ты оглянулась —
Твой сосед был уродлив и груб,
Но ты смело губами коснулась
Его черных запекшихся губ.

1940



СЕЧЬ

Украина плачет
Тарас Шевченко

Трещат жидовские шинки.
Гуляет Сечь. Держитесь ляхи!
Сегодня-завтра казаки
Пропьют последние рубахи.
Кто на Сечи теперь не пьян,
Но. кто посмеет пьяных трогать?
Свой лучший выпачкал жупан
Сам атаман в колесный деготь.
Хмельней вино для казака,
Когда близка его дорога,
И смерть для каждого легка
Во имя вольности и Бога.
В поход, в поход! Гуляет голь,
Гуляют старые старшины.
В поход — за слезы и за боль
Порабощенной Украины.
За честь поруганной страны
Любой казак умрет как витязь.
Ясновельможные паны
Готовьтесь к бою — и держитесь!

1941

ПОХОД

Н. Н. Евсееву

Как в страшное время Батыя,
Опять породнимся с огнем.
Но, войско, тебе не впервые
Прощаться с родным куренем!
Не дрогнув, станицы разрушить,
Разрушить станицы и сжечь;
Нам надо лишь вольные души,
Лишь сердце казачье сберечь;
Еще уцелевшие силы —

Живых казаков сохранять,
Не дрогнув, родные могилы
С родною землею сравнять.
Не здесь — на станичном погосте,
Под мирною сенью крестов,
Лежат драгоценные кости
Погибших в боях казаков;
Не здесь сохранялись святыни —
Святыни хранились вдали:
Пучок ковыля да полыни,
Щепотка казачьей земли.
Все бросить, лишь взять молодаек.
Идем в азиатский пустырь —
За Волгу, за Волгу — на Яик,
И дальше, потом — на Сибирь.
Нет седел — садитесь охлюпкой,
Дорогою седла найдем.
Тебе ли, родная голубка,
Впервые справляться с конем?
Тебе ли, казачка, тебе ли
Душою смущаться в огне?
Качала дитя в колыбели,
Теперь — покачай на коне!
За Волгу, за Волгу — к просторам
Почти неоткрытых земель.
Горами, пустынями, бором,
Сквозь бури, и зной, и метель
Дойдем, не считая потери,
На третий ли, пятый ли год.
Не будем мы временем мерить
Последний казачий исход.
Дойдем! Семиречье, Трехречье —
Истоки неведомых рек...
Расправя широкие плечи,
Берись за топор, дровосек;
За плуг и за косы беритесь,
Кохайте и ширьте поля,
С молитвой трудитесь, крепитесь,
Не даром дается земля —



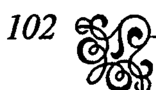
Высокая милость Господня,
Казачий престол Покрова;
Заступник Никола-Угодник
Услышит казачьи слова.
Не даром то время настанет,
Когда, соберясь у реки,
На новом станичном майдане
Опять зашумят казаки.
И мельницы встанут над яром,
И лодки в реке заснуют —
Не даром дается, не даром,
Привычный станичный уют.
Растите, мужайте, станицы,
Старинною песней звеня,
Веди казаку, молодица,
Для новых походов коня,
Для новых набегов в пустыне,
В глухой азиатской дали...

О, горечь задонской полыни,
Щепотка казачьей земли!
Иль сердце мое раскололось?
Нет — сердце стучит и стучит.
Отчизна, не твой ли я голос
Услышал в парижской ночи?

1939

***

Куда ни посмотришь — все наше.
На мельницу едет казак,
И весело крыльями машет
Ему за станицей ветряк.
Ах, ветер осенний, подуй-ка,
Над голою степью поплачь!
Стекает пшеничная струйка
Под жернов. Горячий калач
Потом испечет молодайка:
«А, ну-ка скорей, детвора!»



И легкая детская стайка
Влетит, щебеча, со двора.
Вкуснее всего не горбушка,
А нижний хрустящий запек;
Его завоюет Петрушка,
Любимый отцовский сынок.
Поспорят, повздорят немножко,
И снова на воздух, к полям.
Достанется хлебная крошка
Голодным друзьям-воробьям.

1941

РОДИНА

1

П. В. Гусеву

Она придет — жестокая расплата
За праздность наших европейских лет.
И не проси пощады у возврата —
Забывшим родину — пощады нет!
Пощады нет тому, кто для забавы
Иль мести собирается туда,
Где призрак возрождающейся славы
Потребует и крови, и труда,
Потребует любви, самозабвенья
Для родины и смерти для врага;
Не для прогулки, не для наслажденья
Нас ждут к себе родные берега.
Прощайся же с Европою, прощайся!
Похорони бесплодные года;
Но к русской нежности вернуться не пытайся,
Боясь смерти, крови и труда.

1941

2

О, этот вид родительского крова!
Заросший двор. Поваленный плетень.



Но помогать я никого чужого
Не позову в разрушенный курень.
Не перед кем не стану на колени
Для блага мимолетных дней, —
Боюсь суда грядущих поколений,
Боюсь суда и совести моей.
Над нами Бог. Ему подвластно время.
Мою тоску, и веру, и любовь
Еще припомнит молодое племя
Немногих уцелевших казаков.

1941

3

Пусть жизнь у каждого своя,
Но нас роднит одна дорога.
В твои края, в мои края
Она ведет во имя Бога,
Во имя дедов и отцов,
И нашей юности во имя.
Мы повторяем вновь и вновь
Сияющее, как любовь,
Незабываемое имя
Страны, вскормившей нас с тобой,
Страны, навеки нам родной.
В холодном сумраке Европы
Мы жадно ищем наши тропы
Возврата к ней — и только к ней —
Единственной в чужом нам мире:
К родным полям твоей Сибири,
К родным ветрам моих степей.

1941

4

Так кто же я? Счастливый странник,
Хранимый Господом певец,
Иль чернью проклятый изгнанник,
Свой край покинувший беглец?
И почему мне нет иного

Пути средь множества путей,
И нет на свете лучше слова,
Чем имя родины моей?
Так что же мне? Почет иль плаха,
И чей-то запоздалый плач,
Когда с толпу швырнет с размаха
Вот эту голову палач.
Ах, все равно! Над новой кровью
Кружиться станет воронье;
Но с прежней верой и любовью
Приду я в царствие Твое.

1941

5

Не все, не все проходит в жизни мимо.
Окончилась беспечная пора.
Опять в степи вдыхаю запах дыма,
Ночуя у случайного костра.
Не в сновиденьях, нет — теперь воочью,
В родном краю курганов и ветров,
Наедине с моей осенней ночью
Я все приял, и я на все готов.
Но голос прошлого на родине невнятен,
Родимый край от многого отвык,
И собеседнику обидно непонятен
Мой слишком русский, правильный язык.
Чужой, чужой, — почти что иностранец,
Мечтающий о благостном конце;
И от костра пылающий румянец
Не возвратит румянца на лице.

1941

6

Мне приснилось побережье,
Лед и снег на берегу,
Одинокий след медвежий
На нетронутом снегу,
Неживое колыханье



Ледяных тяжелых вод,
И полярного сиянья
Разноцветный небосвод.
О, как холодно сияла
Надо мною вышина,
О, как сердце мне сжимала
Ледяная тишина.
И, лишенный дара речи,
На снегу я начертал:
Здесь искал с тобою встречи
Тот, кто встречу обещал.

1940

7

Который день печальный снег кружится,
Уже не дни, а, кажется, года
Погребены в снегу — и никогда
Над нами этот снег не прекратится.
Века, века погребены в снегах,
Столетние сугробы на пороге,
В курной избе Владимир Мономах
Все ждет на юг накатанной дороги,
И вместе с ним потомки Калиты
Конца зимы веками ожидают.
А снег идет. Морозные цветы
Пышнее на окошках расцветают.
А снег идет. Мороз звенит, как медь.
Какие там удобные дороги!
Столетьями Россия, как медведь,
Лежит в своей нетронутой берлоге.

1942

8

Я только зовам сердца внемлю
И не кляну свою судьбу.
Господь пошлет — родную землю
Еще почувствую в гробу.
Из камня дикого ограда

И всем ветрам доступный крест —
Какой еще награды надо
Для уроженца здешних мест:
Тому, кто с юных лет по миру
Пошел бродить, все пережил,
Все отдал жизни, только лиру
Свою до гроба сохранил.
Ее загробный звук, быть может,
Встревожит чьи-нибудь сердца,
И у креста пастух положит
Пучок сухого чабреца.

1940

II

ПОГОСТ

Марии Волковой

1

Своей судьбе всегда покорный,
Я, даже в дни жестоких бед,
Не мог в стихах прославить черный,
Любимый твой, — печальный цвет.
В часы бессмысленных крушений
Моих стремительных надежд,
Меня не раз пугали тени
И шорох траурных одежд;
Я ждал визита черной гостьи,
Сгущалась тьма вокруг меня,
Во тьме мерцали чьи-то кости
Мерцаньем адского огня, —
Но снова музы голос милый
Меня из мрака вызывал,
Провал зияющей могилы
Травою снова зарастал,



И, зову нежному подвластный,
Я славил вновь сиянье звезд,
И светлый день, и вечер ясный,
И зеленеющий погост.

1939

2

Ужели у края могилы
Познаю в предсмертной тиши
Всю немощь растраченной силы,
Холодную праздность души?
Ужели у самого гроба
Расплатою прожитых дней
Мне будет унылая злоба
На этих живущих людей,
На краткое счастье земное,
На это, когда-то мое,
Веселое и молодое,
Чужое теперь, бытие?
О, нет! И в последние годы
Развею кощунственный страх
Пред вечным сияньем природы,
Меня обращающей в прах.

1942

3

Нет, — никто еще так не любил,
Никому еще так не казалась
Жизнерадостна зелень могил,
Мимолетна земная усталость.
Ты вернулась опять, и опять
Засияла звезда у предела.
Я не знаю куда мне девать
Это счастье и что мне с ним делать.

1939

ЖАЛОСТЬ

Евгении де Жерве

1

О, моя стихотворная шалость —
Шаловливая легкость пера!
Но зачем это терпкая жалость
Так настойчива и так остра?
О, моя благосклонная сила —
Первобытная к людям любовь!
Но зачем голубые чернила
Превращаются в черную кровь?
Почему я не сплю до рассвета,
Почему не пишу по ночам?
Или страшное бремя поэта
Стало вдруг не по этим плечам?

1940

2

Все сегодня не то, все иначе.
Стал пушистым мой старенький мех.
Поняла, наконец, я, что значит
Над Парижем порхающий снег.
Поняла, наконец, догадалась,
Почему я с утра не своя —
Мне дороже любви эта жалость,
Неподдельная нежность твоя.

1940

ДОБЫЧА

1

Средь скуки холодных приличий,
Назло благосклонной судьбе,
Я жадно мечтал о добыче,
Как варвар, мечтал о тебе.



Шатер да звериные шкуры,
На шкурах с плодами поднос,
Сиянье твоих белокурых
Тяжелых и длинных волос,
Покорно упавших на плечи,
Упавших на руки мои;
Умолкнут невнятные речи,
Ненужные речи твои.
Но завтра, кляня эту долю,
Кого ты из нас проклянешь?
В кого, вырываясь на волю,
Вонзишь подвернувшийся нож?

1941

2

Нам этой ночи было мало.
И с каждым часом все жадней
Меня ты снова целовала,
Искала жадности моей.
Едва на миг во мраке душном
Мы забывались полусном,
Как вновь, я был твоим послушным
И верноподданным рабом.
И только утром, на прощанье,
Я, как прозревший, в первый раз
Увидел синее сиянье
Твоих всегда невинных глаз.

1941

3

Ты мне дана, как Божий дар,
Ты мне дана, как вдохновенье,
Как ворожба, как наслажденья
Испепеляющий пожар.
И я опять легко пою
И не ищу в плену объятий,
Благословений и проклятий
На долю светлую свою.

1941

***

Стихом размеренным
и словом ледяным
Лермонтов

Ты пришла к моей избушке,
Постучалась у дверей,
Увела меня с пирушки,
Отняла моих друзей;
Простодушный нрав молодки
Больше знать мне не дано, —
Поднесла ты вместо водки
Иноземное вино.
И я выпил это зелье,
Осушил стакан до дна,
Мне досталась на похмелье
Гробовая тишина...
Но твое не властно пенье
Отогнать земные сны,
Голубое дуновенье
Расцветающей весны,
И средь мрака гробового
Не внушает больше страх
Заклинающее слово
В этих ангельских устах.

1940

***

С каждым годом все лучше и лучше
Эти ночи весною без сна,
С каждым годом настойчивей учит
Непонятному счастью весна.
Все скупее, вернее и проще
Нахожу для стихов я слова;
Веселее зеленые рощи,
Зеленее за ними трава,



Голубее высокое небо,
— Все короче положенный срок.
О, как вкусен насущного хлеба
С каждым годом все худший кусок.

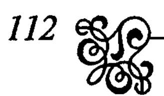
1939

***

Благословен час, когда
мы встречаем поэта
Пушкин

Брат дервиша и пророка,
Да хранит тебя Аллах,
К нам пришедший одиноко,
С вещим словом на устах.
Одинок в своем ты счастье —
И в несчастье ты один,
Целый мир тебе подвластен,
Одинокий властелин;
Целый мир твое жилище,
Но влечет тебя Кавказ —
Сердце знает, сердце ищет,
Сердце любит только раз.
Жизнь все лучше, все короче.
Для нежданного конца
Бережет судьба кусочек
Смертоносного свинца.
Но сегодня в дымной сакле
Беззаботен твой привал.
Ночевать в горах не так ли
Ты на севере мечтал?
Мы простимся на рассвете,
Поклонюсь тебе я вслед —
Счастлив тот, кого ты встретил,
Кто узнал тебя, поэт.

1939



БОЖИЙ МИР

1

Еще твой мир и мудр, и прост,
Еще легко его дыханье;
Вечерних зорь, полнощных звезд
Еще незыблемо сиянье;
Еще сменяет ночь рассвет,
Полдневный свет еще ликует
И слово краткое — поэт
Тебя по старому волнует.
А ты, как Божий мир проста,
А ты ясна, как песни эти.
Ах, без любви, как без креста,
Нельзя прожить на этом свете.

1939

2

Каждый раз, в один и тот же час,
На мосту, среди моей дороги
Я встречаю траурные дроги.
Спотыкаясь, конь едва бредет,
И никто за гробом не идет.
Над рекой туманится рассвет.
Я спешу... Мне тоже дела нет
До того, кто в нищенском гробу
Без креста, без венчика на лбу
Одиноко едет на погост.
Божий мир и благостен, и прост,
И без нас Господь благословил
Свежий прах безыменных могил.

1940



ПИЛИГРИМ

Графине М. Я. Толстой

1

Постучится в эти двери нищета,
С нищетою постучится доброта,
Две сестры — два Божьих близнеца —
Будут ждать тебя у этого крыльца.
Все, что было раньше — позабудь!
Собирайся же в последний путь,
Выходи, не опасаясь, на крыльцо:
Знают две сестры тебя в лицо.
Даст тебе свой посох доброта,
И суму наденет нищета.
Выведут к просторам всех дорог
И, прощаясь, скажут: «Ты убог,
Но теперь ты Господом храним,
Лишь Ему подвластный пилигрим».

1941

2

Мне сам Господь налил чернила
И приказал стихи писать.
Я славил все, что сердцу мило,
Я не боялся умирать,
Любить и верить не боялся,
И все настойчивей влюблялся
В свое земное бытие.
О, счастье верное мое!
Равно мне дорог пир и тризна, —
Весь Божий мир — моя отчизна!
Но просветленная любовь
К земле досталась мне не даром —
Господь разрушил отчий кров,

Испепелил мой край пожаром,
Увел на смерть отца и мать,
Не указав мне их могилы,
Заставил все перестрадать,
И вот, мои проверя силы,
Сказал: «Иди сквозь гарь и дым;
Сквозь кровь, сквозь муки и страданья,
Навек бездомный пилигрим
В свои далекие скитанья,
Иди, мой верный раб, и пой
О Божьей власти над тобой».

1940

***

И придет внезапно срок,
(Слишком рано, слишком рано),
Ты получишь от султана
Тонкий шелковый шнурок.
Вещи проще, чем слова:
Ах, как жизни будет жалко!
Эрзерумская гадалка
Оказалася права,
Вещий дар не обманул,
Зря над ним ты поглумился,
Прискакать поторопился
С вестью радостной в Стамбул.
Оказалась ложной весть,
Поражением — победа;
Должен был ты все разведать,
Все узнать и все учесть.
Твой судья теперь Аллах!
И без робости, без страха
Посмотри на падишаха,
Встав на звонких стременах;
Посмотри в последний раз
На окно Ильдиз-киоска,
На лицо желтее воска,
На печаль усталых глаз.

1940



ЧЕЧЕНСКАЯ ПЕСНЯ

Александру Туроверову

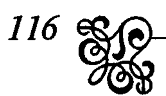
Просохнет земля на могиле моей,
И слезы у матери станут скупей,
А горе твое, престарелый отец,
Заглушит над гробом растущий чабрец;
Как вешнего снега, недолга пора
Печали твоей, дорогая сестра.
Но ты не забудешь чеченскую честь,
Мой старший возлюбленный брат,
Меня не забудешь — кровавую месть
Тебе завещает адат;
Меня не забудет и братец второй,
Пока сам не ляжет со мной.
Горячая пуля меня уведет, —
Но пулям своим потерял я учет,
Земля мой последний покроет привал, —
Но вволю ее я конем истоптал,
Холодная смерть, породнюсь я с тобой, —
Но в жизни была ты моею рабой.

1942

АМУЛЕТ

Д. И. Ознобишину

Во сто крат дороже злата,
Драгоценней чем алмаз,
Мне подаренный когда-то,
Мной испытанный не раз
В дни тяжелого сомненья
Этот маленьким — с вершок —
Трехсотлетнего женьшеня
Желтоватый корешок;
Тайной властью талисмана,
Колдовством подземных сил
От измены и обмана
Не меня ли оградил?



Заменил мне все богатства,
Указал в ночи порог,
От притворства, от коварства
И от злобы оберег;
На путях моих скитаний,
В жизни мирной и в боях,
Он подсказывал заране
Кто мне друг и кто мне враг,
И, ведя в объятиях к другу
На пирушку у огня,
Мимолетную подругу
Делал музой для меня.

1941

III

ПРОВАНС

1

Calo-te, moun cor, calo-te!
Mistral

Успокойся, сердце, успокойся!
В авиньонской католической ночи
Русскою тоской не беспокойся,
Не стучи так громко, не стучи.
Я живу среди солдат без дела,
Ошалев от скуки и вина.
Вот уже и третья отшумела
Для меня несчастная война.
Все мы люди, все мы человеки:
Смерть придет — спеши иль не спеши;
Но зачем же мне дано навеки
Это странное волненье души,



Это непонятное волненье
На прохладных ронских берегах, —
Все еще прерывистое пенье
В только что написанных стихах.

1940

FACULTÉ DES SCIENCES DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS

Équivalence
DE GRADE

Le 26/2/ 1925.

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous informer que, par décision du 27 Février 1925, M. le Ministre a cru devoir vous accorder l'équivalence, à titre gratuit, du grade de bachelier

Veuillez donc vous présenter au Secrétariat de la Faculté des Sciences, à la Sorbonne, de 9 heures à 11 heures, pour y retirer vos pièces.

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

LE SECRÉTAIRE DE LA FACULTÉ,

Monsieur Tourovéroff

Извещение Н. Н. Туроверову о его зачислении в Университет.

2

La terro maire, la Naturo,
Nourris toujours sa pourtaduro
Dou mem la

Mistral

Меня с тобой земля вскормила
Одним и тем же молоком,
И мне близка твоя могила,
Твой мирный провансальский дом.
Шумят оливковые рощи,
И Рона быстрая шумит;
Учись писать, как можно проще, —
Твоя земля мне говорит.
И ветер твой — рукой поэта —
Так нежно гладит по лицу.
Вот и мое подходит лето
Уже к законному концу.
Не все еще вокруг угасло
Для жизни бурной, но пора
Твое оливковое масло
Собрать для Божьего двора.

1940

Touroveroff

Легион

ЛЕГИОН

Au paradis où vont les hommes forts
par le désert d'un long courage.
Arthur Nicolet

1

Ты получишь обломок браслета.
Не грусти о жестокой судьбе,
Ты получишь подарок поэта,
Мой последний подарок тебе.
Дней на десять я стану всем ближе.
Моего не припомня лица,
Кто-то скажет в далеком Париже,
Что не ждал он такого конца.
Ты ж в вещах моих скомканных роясь,
Сохрани, как несбывшийся сон,
Мой кавказский серебряный пояс
И в боях потемневший погон.

2

Всегда ожидаю удачи —
В висок, непременно — в висок!
С коня упаду на горячий
Триполитанский песок.
Не даром, не даром все время
Судьба улыбалася мне:
В ноге не запуталось стремя, —
Сумел умереть на коне.

3

Конским потом пропахла попона.
О, как крепок под нею мой сон.
Говорят, что теперь вне закона
Иностранный наш легион.
На земле, на песке, как собака,
Я случайному отдыху рад.
В лиловатом дыму бивуака



Африканский оливковый сад.
А за садом, в шатре, трехбунчужный,
С детских лет никуда не спеша,
Весь в шелках, бирюзовый, жемчужный,
Изучает Шанфара паша.
Что ему европейские сроки
И мой дважды потерянный кров?
Только строки, арабские строки
Тысячелетних стихов.

4

Андрею Грекову

Нам с тобой одна и та же вера
Указала дальние пути.
Одинаковый значок легионера
На твоей и на моей груди.
Все равно, куда судьба не кинет,
Нам до гроба будет сниться сон:
В розоватом мареве пустыни
Под ружьем стоящий легион.

5

Она стояла у колодца,
Смотрела молча на меня,
Ждала, пока мой конь напьется,
Потом погладила коня,
Дала ему каких-то зерен
(Я видел только блеск колец),
И стал послушен и покорен
Мой варварийский жеребец.
Что мне до этой бедуинки,
Ее пустынной красоты?
Она дала мне из корзинки
Понюхать смятые цветы.
О, этот жест простой и ловкий!
Я помню горечь на устах,
Да синеву татуировки
На темно-бронзовых ногах.

6

Не в разукрашенных шатрах
Меня привел к тебе Аллах,
Не с изумрудами поднос
Тебе в подарок я принес,
И не ковры, и не шелка
Твоя погладила рука,
Когда в пустыне, на ветру,
Ты предо мной сняла чадру.
На свете не было людей
Меня бездомней и бедней.
Солдатский плащ — вот все, что смог
Я положить тебе у ног.

7

Над полумесяцем сияла
Магометанская звезда.
Ты этим вечером плясала,
Как не плясала никогда;
Красою дикою блистая,
Моими бусами звеня,
Кружилась ты полунагая
И не глядела на меня.
А я все ждал. Пустая фляга
Давно валялась у костра.
Смотри, испытанный бродяга,
Не затянулась ли игра?
Смотри, поэт, пока есть время,
Не жди бесславного конца.
Араб покорно держит стремя —
Садись скорей на жеребца.

8

Вся в кольцах, в подвесках, запястьях,
Под сенью шатра, на песке,
Что ты мне щебечешь о счастьи
На птичьем своем языке?



Как все здесь по-Божески просто:
Три пальмы в закатном огне
И берберийский подросток,
В Европе приснившийся мне.

9

Звенит надо мною цикада —
Веселый арабский фурзит:
«Под сенью тунисского сада
Тебе ничего не грозит.
Какая война угрожает
Покою столетних олив?»
Веселый фурзит напевает
Знакомый арабский мотив.
Ах, нет, не поет, не стрекочет,
Звенит надо мною фурзит.
Звенят многозвездные ночи,
И месяц двурогий звенит.
«Не знаем откуда и чей ты,
Но будь нам начальник и брат», —
Звенят африканские флейты
Моих темнокожих солдат.

10

На перекрестке трех дорог
Араб нашел воловий рог
И мне принес его в подарок.
Был вечер нестерпимо жарок,
И я наполнил рог вином
И выпить дал его со льдом
Арабу-нищему.
                    Отныне
Мы породнились с ним в пустыне,
И братом стал мне Абдуллах.
Велик Господь! Велик Аллах!

11

Снова приступ желтой лихорадки,
Снова паруса моей палатки,
Белые, как лебедь, паруса
Уплывают прямо в небеса.
И опять в неизъяснимом счастьи
Я держусь за парусные снасти
И плыву под парусом туда,
Где горит Полярная звезда.
Там шумят прохладные дубравы,
Там росой обрызганные травы,
И по озеру студеных вод
Ковшик, колыхаяся, плывет.
Наконец-то я смогу напиться!
Стоит лишь немного наклониться
И схватить дрожащею рукой
Этот самый ковшик расписной.
Но веселый ковшик не дается...
Снова парус надо мною рвется...
Строевое седло в головах.
Африканский песок на зубах.

12

Не нужна мне другая могила!
Неподвижно лежу на траве.
Одинокая тучка проплыла
Надо мной высоко в синеве.
Бой затих. И никто не заметил,
Как сияли у тучки края,
Как прощалась со всеми на свете
Отлетавшая нежность моя.

13

Мои арабы на коране
Клялись меня не выдавать,
Как Грибоедов в Тегеране
Не собираюсь погибать.
Лежит наш путь в стране восстаний.



Нас сорок девять. Мы одни.
И в нашем отдаленном стане
Горят беспечные огни.
Умолк предсмертный крик верблюда.
Трещит костер. Шуршит песок.
Беру с дымящегося блюда
Мне предназначенный кусок.
К ногам горячий жир стекает —
Не ел так вкусно никогда!
Все так же счастливо сияет
Моя вечерняя звезда.
А завтра в путь. Услышу бранный,
Давно забытый шум и крик.
Вокруг меня звучит гортанный,
Мне в детстве снившийся, язык.
О, жизнь моя! О, жизнь земная!
Благодарю за все тебя,
Навеки все запоминая
И все возвышенно любя.

14

Князю Н. Н. Оболенскому

Нам все равно, в какой стране
Сметать народное восстанье,
И нет в других, как нет во мне
Ни жалости, ни состраданья.
Вести учет: в каком году —
Для нас ненужная обуза;
И вот, в пустыне, как в аду,
Идем на возмущенных друзов.
Семнадцативековый срок
Прошел, не торопясь, по миру;
Все так же небо и песок
Глядят беспечно на Пальмиру
Среди разрушенных колонн.
Но уцелевшие колонны,
Наш Иностранный легион —
Наследник римских легионов.

15

Мне приснились туареги
На верблюдах и в чадрах,
Уходящие в набеги
В дымно-розовых песках.
И опять восторгом жгучим
Преисполнилась душа.
Где мой дом? И где мне лучше?
Жизнь повсюду хороша!
И, качаясь на верблюде,
Пел я в жаркой полумгле
О великом Божьем чуде —
О любви ко всей земле.

16

Стерегла нас страшная беда:
Заблудившись, умирали мы от жажды.
Самолеты пролетали дважды,
Не заметили, — не сбросили нам льда.
Мы плашмя лежали на песке,
С нами было только два верблюда.
Мы уже не ожидали чуда,
Смерть была от нас на волоске.
Засыпал нас розовый песок;
Но мне снились астраханские арбузы
И звучал, не умолкая, музы,
Как ручей, веселый голосок.
И один из всех я уцелел.
Как и почему? Не знаю.
Я очнулся в караван-сарае,
Где дервиш о Магомете пел.
С той поры я смерти не хочу,
Но и не боюсь с ней встречи:
Перед смертью я верблюжью пил мочу
И запить теперь ее мне нечем.

17

Ни весельем своим, ни угрозами
Не помочь вам пустынной тоске.
Только черное-черное с розовым:
Бедуинский шатер на песке.
Напрасно роняете слезы вы, —
В черной Африке видел я мост
Из громадных, дрожащих, розовых,
Никогда здесь не виданных звезд.

18

Умирал марокканский сирокко,
Насыпая последний бархан,
Загоралась звезда одиноко,
На восток уходил караван.
А мы пили и больше молчали
У костра при неверном огне,
Нам казалось, что нас вспоминали
И жалели в далекой стране,
Нам казалось: звенели мониста
За палаткой, где было темно...
И мы звали тогда гармониста
И полней наливали вино.
Он играл нам — простой итальянец —
Что теперь мы забыты судьбой,
И что каждый из нас иностранец,
Но навеки друг другу родной,
И никто нас уже не жалеет,
И родная страна далека,
И тоску нашу ветер развеет,
Как развеял вчера облака,
И у каждого путь одинаков
В этом выжженном Богом краю:
Беззаботная жизнь бивуаков,
Бесшабашная гибель в бою.

И мы с жизнью прощались заране,
И Господь все грехи нам прощал...
Так играть, как играл Фабиани,
В Легионе никто не играл.

19

Вечерело. Убирали трапы.
Затихали провожавших голоса.
Пароход наш уходил на Запад,
Прямо в золотые небеса.
Грохотали якорные цепи.
Чайки пролетали, белизной
Мне напоминающие кэпи
Всадников, простившихся со мной.
Закипала за кормою пена.
Нарастала медленная грусть.
Африка! К причалам Карфагена
Никогда я больше не вернусь.
Африка — неведомые тропы —
Никогда не возвращусь к тебе!
Снова стану пленником Европы
В общечеловеческой судьбе.
Над золою Золушка хлопочет,
Чахнет над богатствами Кащей,
И никто из них еще не хочет
Поменяться участью своей.

20

Я стою на приподнятом трапе
Корабля. Изнуряющий зной.
И муза, в соломенной шляпе,
Все не хочет проститься со мной.

1940-45

N Tourovéroff

НИКОЛАЙ ТУРОВѢРОВЪ

СИРКО

Иллюстраціи П. ПОЛЯКОВА

ПАРИЖЪ
1945

СИРКО

Як помру, одрижьте мою
руку, то буде вам защита
Сирко

По-над Сечью, по-над Запорожьем,
Будто лебедь, ангел пролетал,
Он искал Сирко на свете Божьем,
Атамана мертвого искал.
С давних пор его похоронили,
Отрубивши руку, казаки, —
Триста лет уже лежит в могиле
Запорожский батько без руки.
И с его отрубленной рукою
Казаки идут из боя в бой,
Дорожат, как силою живою,
Трехсотлетней высохшей рукой.
Райских врат Сирку земля дороже
И лежать ему под ней легко;
Мертвецы на суд уходят Божий,
Не является один Сирко.
Бог все ждал, терпенье расточая,
Но апостол Петр уже не ждал,
И, тайком от Господа, из рая
Он на поиск ангела послал.
Пролетел тот ангел над Полтавой,
За Днепром свернул на Рог-Кривой, —
Видит — все казачество за славой
Собралось на беспощадный бой.
В поднебесьи слышится их пенье —
Песня подголоска высока,
Все на смерть идут без сожаленья,



Впереди них — мертвая рука!
Где им тут до ангельской заботы:
От родных домов одна зола!
В чистом небе реют самолеты,
Над землей — пороховая мгла.
Ангел сразу повернул на ветер,
К Чортомлыку быстро долетел,

НИКОЛАЙ ТУРОВЕРОВЪ

СИРКО

ИЛЛЮСТР. Н. ПОЛЯКОВЪ

На погосте, при вечернем свете
У кургана отдохнуть присел.
Вдруг глядит — курган могильный дышит,
Колыхается высокая трава,
И, ушам своим не веря, слышит
Из кургана громкие слова:
«Вижу я все горести и муки
От врагов в моем родном краю;
Нужен ли я Господу — безрукий
Богомолец — в праведном раю?
Как смогу я там перекреститься,
Если нет давно моей руки,
Если с ней уже привыкли биться,
Не боясь смерти, казаки.
Сколько к Богу их уйдет сегодня,
Целыми полками на конях!
Я ж прошу лишь милости Господней:
Полежать подольше мне в степях».
Взвился ангел. По дороге к раю
Над Украйной пролетает вновь,
Среди звезд вечерних обгоняя
Души убиенных казаков.
Путь далек. Увидел ангел снова
Божьи врата только поутру;
Что слыхал, — от слова и до слова —
Передал апостолу Петру.
Петр видал и не такие виды,
Ключарем недаром послужил;
Накануне общей панихиды
О Си́рке он Богу доложил.
Бог в ответ слегка развел руками,
Приказал зажечь еще свечей:
«Что ты будешь делать с казаками,
С непокорной вольницей Моей!»

1943

НИКОЛАЙ ТУРОВЕРОВ

СТИХИ

КНИГА ПЯТАЯ



ПАРИЖ
1965

***

Конец угарных летних дней.
Висят повсюду паутины.
Средь цветника, у тополей,
Как пятна крови, георгины.
Во всем осенний чуткий сон,
В янтарь оделися осины,
И в стеклах дома у колонн
Вечерний свет зажег рубины.

1915

ПОДМАСТЕРЬЯ

И бумага, и медные доски,
И перо, и тяжелый резец,
И, подвластный тебе, его плоский,
Косо срезанный острый конец...
Подмастерья мы оба! Но счастья
Мастерства ожидали не раз,
И Господь, снисходительный Мастер,
Может быть, и посмотрит на нас.

1939

***

С тяжелым напряженьем и трудом,
Почти в отчаяньи, в мучительном сомненьи,
Ты ищешь то, что я найду потом
В своем случайном вдохновеньи,



Не наяву, а в том счастливом сне,
Когда я вдруг заговорю стихами,
И сам Господь в стихах ответит мне;
Но будет тайным разговор меж нами.

1941

***

Прислушайся, ладони положив
Ко мне на грудь. Прислушайся в смущеньи.
В прерывистом сердцебиеньи
Какой тебе почудится мотив?
Уловишь ли потусторонний зов,
Господню власть почувствуешь над нами?
Иль только ощутишь холодными руками
Мою горячую взволнованную кровь.

1942

***

Можно жить еще на свете,
Если видишь небеса,
Если слышишь на рассвете
Птиц веселых голоса,
Если все дороги правы,
И зовет тебя земля
Под тенистые дубравы,
На просторные поля.
Можешь ждать в тревоге тайной
Что к тебе вернется вновь
Гость желанный, гость случайный —
Беззаботная любовь;
Если снова за стаканом
Ты в кругу своих друзей
Веришь весело и пьяно
Прошлой юности своей.
Можно смерти не бояться
Под губительным огнем,
Если можешь управляться

С необъезженным конем,
Если Бог с тобою вместе
Был и будет впереди,
Если цел нательный крестик
На простреленной груди.

1943

***

Закурилась туманом левада,
Журавли улетели на юг, —
Ничего мне на свете не надо,
Мой далекий единственный друг.
Только старый курень у оврага,
Побуревший соломенный кров,
Да мой стол, на котором бумага
Ожидает последних стихов.

1943

ЭЛЛАДА

1

Не противься неравному браку,
Покидая родительский кров.
Ты не знаешь, что слышал оракул
В грозном шуме священных дубов,
Что ему предсказало журчанье
Протекавшего рядом ручья;
Не кляни эту жизнь на прощанье,
При отъезде сквозь слезы крича,
Что в позоре твоем был свободен
Одержимый богами отец,
И за борт у откинутых сходен
Не бросай материнских колец.
Уплывала в тумане Эллада.
Одинокое горе твое
Проводила Афина-Паллада,
Приподняв золотое копье.



2

Расцветали персидские розы,
И шумели фонтаны в садах,
Скоро высохли девичьи слезы
На твоих потемневших глазах.
Ты лежала в объятиях Ксеркса,
Целовала его не любя...
О, как билося царское сердце!
Но не билось оно у тебя.
Ржали кони, ревели верблюды,
И трубили победно слоны.
У богов не просила ты чуда
Для своей обреченной страны.
И ночами на брачной постели
Не просила царя ни о чем,
А развалины Аттики тлели,
Догорали последним огнем.
Но пожарищ пугающий запах
Ты не слышала в душных шатрах;
Ты лежала в объятьях сатрапа
На коврах, на шелках, в жемчугах.
О, как ты в эти дни хорошела,
Ты была, как Лилит, хороша,
И покинула хладное тело
Для скитаний по миру душа.

1943

***

С рождения — ни веры, ни креста.
С рождения — вся жизнь была пуста,
Как этот колос, легкий и пустой,
Поднявшийся над праздной бороздой.
И не пора ль его теперь сорвать,
И бросить в прах, и в прахе растоптать,
Растущий без единого зерна,
Когда о хлебе молится страна.

1943

КИНЖАЛ

Лемносский бог тебя сковал.
Пушкин

1

Откуда он, в простой оправе
Тебе доставшийся кинжал?
В какой воинственной забаве
Он ослепительно сверкал?
Кому в часы кровавой мести
Своим возмездием служил
И с кем потом, во имя чести,
Он неразлучно подружил?
Что видел он под облаками
Кавказских гор, и почему
Своими нежными руками
Теперь привыкла ты к нему?
И отчего тебя тревожит
Кинжал, отведавший крови,
И веришь ты, что он поможет
Тебе отбиться от любви.

2

И страшной смертью ты умрешь,
Умрешь не телом, а душою.
С тобою будет этот нож,
Тебе завещанный судьбою
На память о моей любви
И о расплате неминучей,
Моей расплате самой лучшей —
Ценою собственной крови.
И блеск холодный лезвия,
Как смертоносная змея,
Тебя отравит, заворожит.
Заворожив, заставит жить,
Но уж никто, никто не сможет
Тебя заставить полюбить.

1943

***

Две крови: казачьи обе,
Но донская похмельней
И в презрении, и в злобе,
В беспощадности своей;
Никогда ни в чем не каясь,
Что хотела — забрала,
Жизнь взяла, не сомневаясь,
И на волю увела
Из родительского дома,
На простор и на разбой,
Чтобы стало все знакомо
В новой жизни озорной.
Над разбоем чайка плачет,
В сердце жалость и любовь,
Это тоже кровь казачья,
Но уже другая кровь.
Это значит Украина,
Мне печальней и родней:
Запорожская кручина,
Песни матери моей.

1943

ДИАЛОГ

«Что ты найдешь в стране печальной,
В твоей стране среди снегов?
Зачем ее холодной тайной
Твоя отравлена любовь?
Зачем ты ждешь ее ответа,
Когда ты должен быть ничей,
Как этот ветер, иль как этот
Незамерзающий ручей.
Что надо жизни человечьей?
Что ищешь ты? Тебя здесь ждет
Мое вино и сыр овечий,
Домашний хлеб и дикий мед.
Живи со мною на свободе

И пей из кубка моего
За жизнь, в которой все проходит
И не проходит ничего».
«...Я внял тебе. Внимай мне тоже
О дальней родине моей
И знай, что нет страны моложе,
И человечней, и нежней;
Что труден путь ее извечный,
Но ей нельзя с него свернуть,
Когда над ней сияет Млечный,
Единственный на свете путь;
Когда ведет к всемирной лире,
Сквозь кровь, сквозь муки и гроба,
Ее чудеснейшая в мире —
Неповторимая судьба».

1943

***

Влюбленный в бой жалеть не станет
Погибших рядом с ним в бою,
Он сожаленьем не обманет
Любовь суровую свою.
В загробные не веря силы,
Стоит он, вновь готовый в бой,
У свежевырытой могилы
С ненаклоненной головой.

1943

***

Жизнь пришла суровая, простая,
С черным хлебом, с каторжным трудом;
Разлетелась лира золотая
Под ее тяжелым топором.
А давно ль, счастливый и влюбленный,
Был я пьян от счастья своего...
Только жар от печки раскаленной,
Только сон — и больше ничего.

1943

***

Как когда-то над сгубленной Сечью
Горевал в своих песнях Тарас, —
Призываю любовь человечью,
Кто теперь погорюет о нас?

Но в разлуке с тобой не прощаюсь,
Мой далекий отеческий дом, —
Перед Господом не постесняюсь
Называться донским казаком.*

1943

ТОВАРИЩ

Перегорит костер и перетлеет,
Земле нужна холодная зола.
Уже никто напомнить не посмеет
О страшных днях бессмысленного зла.
Нет, не мученьями, страданьями и кровью —
Утратою горчайшей из утрат:
Мы расплатились братскою любовью

---

* В архиве поэта был найден расширенный вариант стихотворения. Между первым и последним четверостишием были следующие строки:

Ты в своей распласталася шири —
Еще новых земель подавай!
Что тебе мой единственный в мире,
Для тебя слишком маленький край,
Что тебе эта слава казачья —
Отшумели твои казаки;
Над могилами их не заплачут,
А сравняют с землей мужики.
И не вольным раскинутым станом,
Не волнующих ржаньем коней;
Станет новь за придонским курганом
Над хлебами мужичьих полей.
Не боюсь я твоей укоризны,
Да и можешь ли ты укорять,
Что тобой уготованной тризны
Не могу, не могу я принять.

С тобой, мой незнакомый брат.
С тобой, мой враг, под кличкою «товарищ»,
Встречались мы, наверное, не раз.
Меня Господь спасал среди пожарищ,
Да и тебя Господь не там ли спас?
Обоих нас блюла рука Господня,
Когда, почуяв смертную тоску,
Я, весь в крови, ронял свои поводья,
А ты, в крови, склонялся на луку.
Тогда с тобой мы что-то проглядели,
Смотри, чтоб нам опять не проглядеть:
Не для того ль мы оба уцелели,
Чтоб вместе за отчизну умереть?

1944

СТИХИ К ДОЧЕРИ

Над ковыльной степью веет
Жаркий ветер суховей,
И донская степь синеет
С каждым часом горячей.
И опять в полдневной сини,
Как в минувшие века,
В горьком запахе полыни
Вековечная тоска.
Знаешь ты, о чем тоскует
Эта горькая полынь?
Почему тебя волнует
Эта выжженная синь?
И тебе, рожденной где-то
В европейском далеке,
Так знакомо это лето
В суховейном ветерке?
Почему счастливым звоном
Вся душа твоя полна,
Как полна широким Доном



Эта легкая волна?
Почему у перевоза
И песчаных берегов
Ты почувствуешь сквозь слезы
Дочерину любовь
И поймешь, моя родная,
Возвращаяся домой,
Что нет в мире лучше края
Чем казачий край степной.

1944

ИЗ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО

1

Не женись ты на богатой —
Выгонит из хаты,
Не женись и на убогой —
Проживешь недолго,
А женись на вольной воле —
На казачьей доле:
Как была она — такою
Будет ввек с тобою.

2

О, Боже мой милый! Как тяжко на свете,
Как жизнь горемычна — а хочется жить,
И хочется видеть, как солнце сияет,
И хочется слушать, как море играет,
Как пташка щебечет, как роща шумит,
Как девушка песню свою запевает...
О, Боже мой милый, как весело жить!

3

«Молитесь, братие молитесь!
Вокруг святого Чигрина!

Как нерушимая стена,
Восстав из гроба, станет сила
Архистратига Михаила —
Покойников святая рать.
Но Украину вам спасать,
Еще живущие! Спасайте
Родную мать свою, не дайте
В руках у ката погибать!
Пожар пылает там и тут,
И некрещенными растут
Казачьи дети, а девчата
Ушли в неволю без возврата,
И гибнет юная краса,
И непокрытая коса
Стыдом сечется, ясны очи
В разлуке гаснут... Иль не хочет
Казак сестру свою спасать
И сам собрался погибать
В ярме у катов? Горе, горе!
Молитесь, дети! Страшный суд
На Украину к нам несут
Враги. Опять прольется море
Казачьей крови... Где Богдан?
Где Наливайко, Остряница?
Пора Палию пробудиться,
И где Сирко — наш атаман?
Молитесь, братья!»
                    И святой
Поп окропил толпу водой
С крыльца церковного. Но вот
Вдруг расступается народ,
И с непокрытой головой
Встал на крыльце кобзарь седой:
«Да сгинет враг! Да сгинет прочь!
Точите косы в эту ночь,
Ножи острите и со мной
Тряхнем недавней стариной!»

1944

ВДОВА

Ты пошли Боже, тучу грозную,
Тучу грозную, Громову стрелу, —
Ты разбей, разбей гробову доску,
Ты раскрой, раскрой золоту парчу:
Подыми моего друга милого.

Казачья песня

И вышел я — безумный тать —
В грозой кипевшее ненастье,
Чтоб силой взять, уворовать
Недосягаемое счастье.
Шумел в дожде весенний сад,
Вела знакомая дорожка
Туда, где брезжил свет лампад
За ставней низкого окошка.
И ветхой ставни сняв запор,
Увидел я перед собою
Свою добычу, дерзкий вор,
Легко играющий судьбою.
Лежала юная вдова,
Перед иконами рыдая,
И слышал я ее слова,
Окно тихонько раскрывая.
«Бушуй, гроза, сильнее, чтоб
Раскрылась свежая могила
И виден стал сосновый гроб,
В котором спит теперь мой милый.
Буди его, гроза, буди!
Он сам уже проснуться хочет,
Дыханье дай его груди,
Открой ему уста и очи.
Я четверговую свечу
Зажгла у образа Христова, —
Ударь же, гром! Сорви парчу
Потустороннего покрова!..»

И грянул гром. И я упал,
Как бы пронизанный стрелою,
И рухнул дом, и запылал,
И смерч пронесся надо мною...

1944

***

Я шел к тебе среди руин,
Среди дымящихся развалин.
Я шел к тебе. Я был один.
И был мой путь как ночь печален.
Я знал, что ты еще жива,
Я звал тебя бессильным криком,
И эхо вторило едва
Моим словам во мраке диком.
Нет ничего — но сердце есть.
Нет никого — но ты со мною.
О, как я был охвачен весь
Ночною черной тишиною.

1944

КОНЬ

Конь казаку всего дороже
И ты, мой сын, им дорожи.
А. В. Туроверов (1854)

«Что, мой верный друг, не весел,
Что грустишь, моя краса?
Я в торбе тебе навесил
Золотистого овса.
Что не ешь его проворно,
А, мотая головой,
Вкусно пахнущие зерна
Рассыпаешь пред собой?
Иль меня ты, друг, не слышишь,
И заветный сахарок
Не берешь, а только дышишь
На протянутый кусок.



Не кусаешь в шутку руки,
Не балуешься со мной, —
Иль почуял день разлуки,
Мой товарищ дорогой?»
«Нет, хозяин, я не болен,
Рад служить я казаку,
Но рассеять ты не волен
Лошадиную тоску.
Для меня давно не тайна,
Что сегодня ты принес
Лишь с похмелья и случайно
Этот сахар и овес.
Обо мне ты забываешь.
Подъезжая к кабаку,
Одного меня бросаешь,
Кинув повод на луку;
Долго жду тебя на вьюге
У заснеженных перил —
Сколько раз мои подпруги
Отпустить ты позабыл?
А потом, хвативши водки,
Зря вихляясь на бока,
Ты меня к чужой молодке
Гонишь вскачь от кабака;
Запотелый круп дымится
В непогоде ледяной,
И смеется вся станица
Над тобой и надо мной».

1944

***

Что мы братцы, по-пустому спорим
И все делим тесные поля,
А на юге, за Каспийским морем,
Зря лежит просторная земля.
Кровь застыла в нас, иль обветшала
Наша переметная сума?
Здравствуй Персия! Здорово ночевала,
Полусонная богатая кума!

Запрягай тяжелые мажары,
Провожай соседей дорогих.
Серебром украшены Каджары,
А уздечки в золоте у них.

1944

СУМАРОКОВ

О, вы — по нас идущие потомки
Тредьяковский

Долги одолели. Описаны книги.
Демидов грозит их продать.
А Двор глухонем. В Петербурге интриги.
Не хочет никто выручать.
Без шляпы, в сугробах, не ведая стужи,
Идет он, известный для всех.
На бархат камзола, на золото кружев
Слетает нетающий снег.
Подальше от дома, поближе к народу —
В любой простолюдный кабак,
Где можно почувствовать сразу свободу
Среди незнакомых гуляк.
Где можно забыться, душой молодея,
Не веря в жестокий обман...
И, медленно, верно и сладко пьянея,
Он пьет за стаканом стакан.
Кто может быть близок ему, или равен
На склоне дряхлеющих лет?
Какой-то Капнист и какой-то Державин
Едва появились на свет.

Полвека отдал он российскому слову, —
На лаврах пора почивать.
Он оду вчера написал Пугачеву
И — больше не будет писать.
Поэт трех цариц не боится доносов —
Ему ли испытывать страх?
Он с музой сдружился, когда Ломоносов
Еще пребывал в мужиках.
Кто тайну открыл хореической оды?



И вот, с табакеркой в руке,
Встает он, роняя скамью, и на своды,
Моргая, глядит в кабаке.
Не знает поэт человеческих сроков,
Он видит немеркнущий свет:
За партой стоит Александр Сумароков,
Семнадцатилетний кадет.
И внемлет ему молодая Россия,
Наследье Петровых годов.
Услыша внезапно, услыша впервые
Всю музыку русских стихов.

О, премудро божество!
От начала перва века
Такового человека
Не видало естество.
Цесарь страшен был во брани,
Август покорил весь свет,
К Александру носят дани,
Где лишь меч его сверкнет.
Петр — природу пременяет,
Новы души в нас влагает,
Строит войско, входит в Понт,
И во дни такой премены
Мещет пламень, рушит стены,
Рвет и движет горизонт.

На впалых щеках розовеет румянец —
Забвенья поэзии нет.
И первым в Москве среди признанных пьяниц
Становится первый поэт.

1944

***

Уже никто чудес не просит,
И больше нет на свете слез.
А смерть все так же мерно косит
Свой нескончаемый покос.
Но вот, за звонкою косою,
Почти в беспамятстве, в бреду,

Дотла сожженной полосою
Я, зачарованный, иду;
Гляжу на грозное движенье
Косы в испытанной руке,
На странный взмах и на паденье
Людей совсем невдалеке.
Но нет в душе тоски и страха,
И вижу я: из пустоты,
Из кровью залитого праха
Растет трава, цветут цветы,
И лес весенний зеленеет,
И льется дождик на поля,
И с каждым часом хорошеет
Испепеленная земля.
И смерти нет... А за косою
Идет мой пращур и поет,
И загорелою рукою
Меня манит, меня зовет.

1944

***

За легкомысленный язык;
За склонность к ветреной забаве,
За то, что я уже привык
К незатруднительной отраве,
За все, за все, чем грешен я,
Ты ниспошли мне наказанье,
Но не лишай меня огня,
Оставь широкое дыханье,
Любви и песен не лишай
И не клади во гроб живого,
Ты видишь: льется через край
Еще взволнованное слово.

1944



БАБЬЕ ЛЕТО

Стали дни прозрачнее и суше,
Осыпаться начинает сад,
Пожелтели розовые груши,
Золотые яблоки висят.
От плодов, от солнечного света,
На душе спокойней и ясней,
И сюда теперь приходит лето
Из своих пустеющих полей.
Там летят по ветру паутины,
Все хлеба уже давно в снопах.
Бабье лето! Первые морщины,
Первые седины на висках.

1944

ПЕЧАЛЬНОЕ ВИНО

1

Не с животворящим и веселым,
Дружным с нежностью, с любовью, со стихом,
А с тяжелым, непробудным, новым,
Уводящим к гибели вином;
Без раскаяний, без веры, без возврата,
Без тебя — наедине с собой,
Я уже не вспомню чем когда-то
Был мне этот перстень золотой.
Все как есть на свете забываю,
Сам себя не узнаю в лицо.
Если крест нательный пропиваю,
Что мне обручальное кольцо!
И напрасно ты в своей тревоге,
В жалости, в смятении, в тоске
Встанешь предо мною на пороге
Призрачным виденьем в кабаке.

2

Жалей других, но не жалей себя!
И вот, с ненужными, случайными, чужими
Я пью вино, безжалостно губя
Твое неповторяемое имя,
Моя неразрешенная любовь.
Уже без вдохновений, по привычке,
В нестройном хоре праздных голосов
Участвую в унылой перекличке.
А ты молчишь. А я опять в бреду
Стремлюсь к тебе вслепую, как лунатик,
Как акробат испытанный иду,
Качаясь на протянутом канате.
А ты все ждешь — ужели не сорвусь
Я с этой проволки железной.
Какой простор, какой простор и грусть
В моей свободе бесполезной.

1945

***

За твое тревожное молчанье,
За биенье сердца моего,
За внезапное короткое свиданье,
На котором не случилось ничего,
За подсказанное вновь стихотворенье,
(В нем тебя опять не назову),
За такую нежность сновиденья,
О которой не расскажешь на яву,
За печаль, за тайное участье,
За любовь — отвечу я потом;
Но сегодня сокровенно счастье,
Как ручей, еще сокрытый льдом.

1945

***

За безропотную службу —
В битвах пролитую кровь,
За возвышенную дружбу —
Бескорыстную любовь,

За отцовские могилы —
Родовые образа,
За растраченные силы,
За цыганские глаза,
За угарные попойки,
Где поились подлецы,
И за пропитые тройки —
Золотые бубенцы,
Только жалкие равнины,
Только жалость без конца,
Да столетние руины
У дворянского крыльца.
Без пощады, без возврата,
Без умеющих помочь,
И как черный флаг пирата,
Все собой покрыла ночь.

1945

***

Не плыву — улетаю в Америку.
Кто поймет беспросветную грусть?
Это значит: к заветному берегу
Никогда, никогда не вернусь.
Это значит: благополучию
Свою жизнь навсегда уступил,
Полунищую, самую лучшую,
О которой я Бога просил.

1945

***

О чем грустить, по ком скучать!
В рассветной мгле стоят опушки,
О многолетии кричат
Неугомонные кукушки,

И вторит им весенний хор,
Разноголосый щебет птичий.
Ах, мне весна с недавних пор
Нужна, как поцелуй девичий.
И вот мы с ней идем вдвоем,
Куда — еще не знаем сами,
Я — с подорожным костылем,
Она — с апрельскими цветами.
Плывут над нами облака,
К плечу припал попутный ветер,
Светла дорога и легка,
И жить легко на этом свете.
А ночью мир по-Божьи прост,
Деревня молится о хлебе;
В моем окне так много звёзд,
Как будто я уже на небе.

1945

***

И будет дождь — веселый, молодой,
В листву дерев ударивший, как в бубен,
Широкий дождь, прошедший полосой,
От Маныча до самых Лубен
И опочивший там... Последнею слезой,
Вот так бы мне, весь мир благословляя,
Погибнуть где-то там, где над землей
В дожде поднялась арка золотая.

1945

ОКТЯБРЬ

Был поздний час. И ты уже спала,
А я все медлил у твоей калитки.
Стоял октябрь. И ночь длинна была,
И лунный свет — стеклянный, полужидкий —
Стекал по кровле и струился по шоссе.
Оно теперь казалось мне рекою,



И плыл весь мир, и люди плыли все
К безмолвию, к забвению, к покою.
Все глубже сон. Все холоднее кровь.
Не знаю, что теперь тебе приснится.
А мир плывет, и с ним моя любовь,
Чтоб больше никогда не повториться.

1945

***

И снится мне: тропой опасной
Идем с тобою мы в горах.
И ночь вокруг, но месяц ясный
Сияет в темных небесах.
Над нами горный снег белеет,
А ночь все глуше и синей,
И полуночный ветер веет
Над первой юностью твоей.
И снится мне: я стал моложе
И про любовь тебе пою,
Как никогда не пел и позже
Уж никогда не запою.

1945

***

На простом, без украшений, троне
Восседает всемогущий Бог.
Был всегда ко мне Он благосклонен,
По-отечески и милостив, и строг.
Рядом Ангел и весы, и гири —
Вот он — долгожданный суд!
Все так просто в этом райском мире,
Будто здесь родители живут.
На весы кладется жизнь земная.
Все мои деянья и грехи,
И любовь к тебе, моя родная,
И мои нетрудные стихи.

Сколько веса в этой бедной лире,
Певшей о земном и для земных?
Ангел молча подбирает гири,
Выбирая самый лучший стих...
О, как все они теперь убоги,
Эта плоть и эта кровь моя, —
В судный час пред Богом, на пороге
Нового простого бытия.

1945

***

Посмотри: над присмиревшей степью,
Над грозою отшумевшей, над тобой
Радуга изогнутою цепью
Поднялась средь пыли дождевой.
Посмотри, не пропусти мгновенье,
Как сияет радужная цепь.
Это с небом ищет примиренья
Бурей растревоженная степь.

1945

***

Ты жаждешь ясности. Откуда
Мне взять ее в холодной мгле?
Ты ищешь ясности, как чуда,
На затуманенной земле.
Ты мнишь ее посланцем тайным,
Во тьме сияющим мечом,
Все озарившим — но случайным, —
Из туч прорвавшимся лучом,
Господним голосом из рая,
Поэтом, славящим любовь,
Когда, средь мертвых слов живая,
Звучит строка его стихов,
Блистаньем звезд в полночном небе,
Теплом спасительных огней,

Молитвой о насущном хлебе
Всех обездоленных людей...
Ты жаждешь ясности. Откуда
Мне взять ее в холодной мгле?
Я сам ее ищу как чуда
На затуманенной земле.

1945

***

Лед вокруг давным-давно не сколот,
От морозов затуманился восток,
Но страшнее чем полярный холод
Сердца равнодушный холодок.
Никого, подруга дорогая,
Никого умеющих помочь.
Только муза! Музыка такая,
Без которой жить уже невмочь.

1945

***

О годах медленного ига,
О днях бездомной пустоты
Твердит пророческая книга;
Но ветер вещие листы
Как листья легкие листает.
(О, что ему века веков!)
И ясный вечер догорает
Над морем зреющих хлебов.
Не из кладбищенской пустыни,
Загробной местию дыша,
Идет сюда в вечерней сини
Твоя нетленная душа,
И за туманными чертами
Тебя нетрудно угадать:
Всегда, всегда была ты с нами
Неумирающая мать;

Мы слышим твой знакомый голос,
Ты нас опять зовешь в тоске
И мирный знак, созревший колос,
Несешь в протянутой руке.

1945

***

Отцу Николаю Иванову

Не георгиевский, а нательный крест,
Медный, на простом гайтане,
Памятью знакомых мест
Никогда напоминать не перестанет;
Но и крест, полученный в бою,
Точно друг и беспокойный, и горячий,
Все твердит, что молодость свою
Я не мог бы начинать иначе.

1945

КАЗАК

Ты такой ли, как и прежде, богомольный
В чужедальней басурманской стороне?
Так ли дышишь весело и вольно,
Как дышал когда-то на войне?
Не боишься голода и стужи,
Дружишь с нищетою золотой,
С каждым человеком дружишь,
Оказавшимся поблизости с тобой.
Отдаешь последнюю рубаху,
Крест нательный даришь бедняку,
Не колеблясь, не жалея — смаху,
Как и подобает казаку.
Так ли ты пируешь до рассвета,
И в любви такой же озорной,
Разорительный, разбойный, но при этом
Нераздельный, целомудренно скупой.

1945



С Новым годом!
С Рождеством
JOYEUX NOËL
И с подарками
притом.
Ваша Наташа

Ник. [illegible]

30/12 63

***

Умей же, брат мой, без разбора
Все изумительно ценить,
Простить разбойника и вора,
Обиду горькую забыть.
Без опасений, без оглядки
Встречать грядущие года,
И не играть с судьбою в прятки,
А быть ей вызовом всегда.

1945

ГУРДА

Гурда по-чеченски: держись!

1

На клинке блестящем у эфеса
Полумесяц рваный и звезда.
Нет на свете лучшего отвеса,
Чем отвес твой, драгоценная гурда.
В мире нет тебе подобной стали —
Невесомой, гибкой и сухой,
За тебя мюриды умирали,
Чтобы только обладать тобой.
Ты в руке испытанной у бека
Без зазубрин разрубала гвоздь,
Рассекала смаху человека
От плеча до паха наискось.
Говорят — и повторяют это —
Что тебя, с заклятьем на устах,
Выковал по просьбе Магомета
В поднебесной кузнице Аллах.
Для твоей неукротимой славы
Украшенья были не нужны:
Костяная рукоятка без оправы,
В темной коже — легкие ножны.

2

Месть за сына, за отца, за брата,
За семью поруганную — месть!
Нет войны священней газавата,
Но враги безжалостнее — есть.
Над имамом флаг зеленый реет:
Весь Кавказ привстал на стременах,
Над Баклановым по ветру веет
Черный, с черепами флаг.
Рассыпались всадники по полю,
С каждым смерть скакала на-обочь,
На чеченскую седую волю
Опускалась северная ночь;
Над страницами раскрытого Корана
Оседала поднятая пыль,
Казаки в аулах Дагестана,
На Гунибе — сдавшийся Шамиль.
Стала ты подругой у шайтана,
Породнилась с заколдованной рукой,
Черт Петрович, генерал Бакланов
Самовластно завладел тобой.

3

КАЗАЧЬЯ ПЕСНЯ

«Вдоль по линии Кавказской
Млад-сизой орел летал.
Он летает пред войсками
Наш походный атаман;
Он с походом нас поздравил,
Отдавал строгий приказ:
Чтоб у вас, ребята, были
Ружья новые Бердан,
Шашки острые в ножнах,
Пистолеты в кобурах...



Что ты, ворон, что ты, черный,
Что ты вьешься надо мной?
Ведь добыча-то плохая:
Я — казак — еще не твой!»

4

Черт не спит. Ему давно не спится.
Скучно в Петербурге одному.
Старый черт из Гугнинской станицы
Был роднею деду моему.
И ему, предчувствуя кончину,
Он тебя на память передал.
В Петербурге умер от кручины
Сосланный казачий генерал.
Дед носил тебя, ценить умея, —
И уча потом носить меня,
На кавказской узкой портупее
Из простого сыромятного ремня.

5

Ты одна со мною разделила
Юность бесшабашную мою,
Ты меня настойчиво учила
Нужному спокойствию в бою.
За тобой — баклановская слава,
А за мной — двадцатилетний пыл.
Подхватила нас казачья лава,
Сумасшедший ветер закружил.
Что тогда мне снилось и казалось?
Сколько раз рубил я сгоряча
Смерть свою, которая касалась
Ненароком моего плеча.
Помнишь вьюжный день на Перекопе?
Мертвый конь, разбитые ножны...
Много лет живя с тобой в Европе,
Ничего забыть мы не должны.

1945

ЛЕРМОНТОВ

Через Пушкина и через Тютчева,
Опять возвращаясь к нему
— Казалось, не самому лучшему —
Мы равных не видим ему.
Только парус белеет на взморье,
И ангел летит средь миров,
Но вот, уже в Пятигорье
Отмерено десять шагов.
Не целясь Мартынов стреляет,
Держа пистолет наискось,
И нас эта пуля пронзает
Сквозь душу и сердце — насквозь.

1946



СТАМБУЛ

Нет — ничего не минуло!
Месяц встает молодой:
Медленно всплыл над Стамбулом
Легкий челнок золотой.
Снова по звездным дорогам,
Снова в райских садах
С нашим доверчивым Богом
Вместе гуляет Аллах.
В бедной кофейне Скутари
Предок мой песни поет.
Прошлое нас не состарит,
Прошлое к сердцу прижмет.
Голос гортанно поющий,
Город в ночи голубой!
Горечь кофейной гущи
Запью ледяною водой.

1946

ДЕВЯТЬ ВОСЬМИСТИШИЙ

1

Еще сердце, как будто, исправное,
Но не верит больше стихам.
Только лучшее, самое главное
Перед смертью тебе передам.
И ты щедро станешь разменивать
Серебро на медный грош,
Уверять, что я на Тургенева
Безответной любовью похож.

2

Все теряю время на людей ненужных,
На ненужные затеи и дела,
Все стараюсь в непробудной стужи
Отогреть закоченевшие тела.

Все людей живых найти стараюсь
И своим, в который раз, кольцом
Снова расточительно меняюсь.
С погибающим от скуки мертвецом.

3

Широка, просторна и легка
У казачки вольная походка —
Так плывут над степью облака.
Так плывет и парусная лодка,
Лебединой грудью наклонясь,
Так любовь внезапная приходит,
Так и ветер в буераках бродит,
Никого на свете не боясь.

4

Учился у Гумилева
На все смотреть свысока,
Не бояться честного слова
И не знать, что такое тоска.
Но жизнь оказалась сильнее,
Но жизнь оказалась нежней,
Чем глупые эти затеи
И все разговоры о ней.

5

Есть стихи, которых не повторишь.
Знаю, не к лицу мне грусть.
Зря ты их меня читать неволишь,
Зря запоминаешь наизусть.
А потом не понимаешь шуток
И не веришь в беззаботный смех —
Для тебя любовь — как первопуток,
Для меня — уже последний снег.

6

Одинаково для бедных и богатых
Светит солнце, и цветут цветы,



В небо поднимаются закаты,
Звезды ниспадают с высоты.
Одинаково Господь внимает
Всем молитвам и прощает всех,
Кто же нам с тобою посчитает
Нашу нежность за великий грех.

7

Так и ночью узнаешь на ощупь
В темноте знакомые черты.
Стала ты доступнее и проще,
Но рабынею не стала ты.
И в неволе, в нищете, в позоре,
Черным воздухом мучительно дыша,
Все еще гуляет на просторе
Смерти не подвластная душа.

8

Ничего не сохранила память
Из того, что сердце берегло.
Все, что было неразлучно с нами
Отлетело, отсияло, отцвело.
Каждый день рождается впервые.
Что такое память и к чему?
Каждый день ворота золотые
Раскрываются в Господнем терему.

9

В этой доле самой лучшей,
Самой страшной и простой,
Я тебе доверил ключик
От шкатулки золотой.
В ней лежит моя тревога,
Сердце вещее лежит,
И на самом дне немного
Нерастраченной души.

1946

ИГРА

Игра сдана и начата.
Глухая ночь. Начало марта.
Любимый месяц; но не та
Опять ко мне приходит карта.
Опять, как будто бы на зло,
Я лишь фигуры прикупаю.
Мне никогда так невезло;
Но я играю и играю.
За ночь одну я поседел.
Бледней стены, в табачном дыме,
Я не сдаюсь. Ломая мел,
Твое нетронутое имя
Пишу на залитом сукне,
В чаду разгрома и попойки,
В залог всему. И снова мне
Дают валета к нищей двойке.
Иль я не создан для игры,
Иль я, действительно, не молод,
И вот, в Тартар-тартарары
Лечу стремглав, вдыхая холод
Непоправимого конца,
Игры проигранной до праха,
И нет, как нет у мертвеца,
Во мне сомнения и страха.

1946

***

Потерявши все, ты станешь чище,
Будешь милосердным и простым,
И придешь на старое кладбище
Посидеть под дубом вековым.
Без стремлений пылких, без обмана.
Жизнь, как есть! Смиренье и покой.
Хорошо под сенью великана
Отдыхать смущенною душой,
Птицей петь в его зеленой чаще



И листочком каждым дорожить.
Жизнь, как есть! Но жизнью настоящей
Только дуб еще умеет жить.
Грузно поднимаясь в поднебесье,
Он вершинами своих ветвей
Ничего уже почти не весит
В вознесенной вечности своей,
И, уйдя в подземный мир корнями,
Над безмолвием могильных плит,
Над еще живущими, над нами,
Как он снисходительно шумит.

1946

***

Я шел по дороге и рядом со мной
Кружился листок золотой.
Летел он по ветру, потом отставал
И снова меня догонял.
Не это ль твоя золотая душа
Решила меня провожать,
Напомнить, что близок положенный срок
Осенний дубовый листок?

1946

***

Из всех мечтаний лучшая мечта
О бедности бездомной, о свободе,
О том, быть может, недалеком годе,
Когда вся жизнь окажется проста,
Как жизнь вот этого дубового куста.
Он крепче всех стоит в молодняке,
Вокруг него лепечет мелколесье,
А старый лес молчит невдалеке,
Как будто все он пережил и взвесил.
Дубовый куст дает тебе приют —
Ложись под ним и засыпай, бродяга.

Ты отдохнешь, ты будешь счастлив тут,
На склоне неглубокого оврага.
Ты будешь спать на шелковой траве,
Под вечер неожиданно проснешься
И над тобой склонившейся листве,
Как матери, спросонок улыбнешься.

1946

***

И утром вставать на заре,
И вечером поздно ложиться,
В однообразной игре
Кружиться, кружиться, кружиться.
И виду нельзя подавать,
Что солнце порою не светит, —
И годы тебя не видать,
И знать, что живешь ты на свете.

1946

СТЕПЬ

Памяти отца

1

Был полон мир таинственных вещей,
А я был жаден, беспокоен, зорок,
В Донце ловил я голубых лещей,
И хищных щук, и сонных красноперок.
А в длинных буераках за Донцом,
Без промаха стреляя куропаток,
Я мог уже соперничать с отцом,
С охотниками быть запанибрата.
Я забывал, что надо пить и есть,
Собака верная со мной не разлучалась,
Ее в репьях всклокоченная шерсть



Руном мне драгоценнейшим казалась.
И не было подобных ей собак,
И не было страны подобно этой,
Где б можно было задыхаться так
От счастья и от солнечного света.
Сияла степь все суше, горячей...
И нежностью уже нечеловечьей
Звучал мне голос... Только голос чей?
Наверно, твой, тоскующий кузнечик.

2

Опять в степи неугомонный ветер.
Свистит ковыль, качается бурьян.
Опять ирландец — годовалый сеттер,
От дикого простора полупьян,
Кружит, кружит широкими кругами,
А дичи нет — какая пустота.
В печальном небе высоко над нами
Летят, не опускаясь, стрепета.
Весь птичий мир готовится к отлету,
Пернатый мир давно настороже;
Сентябрь зовет на псовую охоту,
Не видя толку в дробовом ружье.
Но мы с тобой, мой рыжий пес, не верим,
Что нашей воле подошел конец, —
По малолетству за осенним зверем
Не пустит нас стареющий отец, —
Кружим, кружим в степи, не отдыхая,
Авось, еще нарвемся на дрофу,
Иль диких уток обнаружим стаю
Под вечер в мочажинах на лугу.
Но степь мертва. За черными скирдами
Под ветром тлеет медленный закат,
И машет нам тревожными руками —
Зовет домой — полураздетый сад.
Отец сидит за бесконечным чаем,
Бушует ночь вслепую на дворе,
И мы с ирландцем рядом засыпаем
В отцовском кабинете на ковре.

3

Священный час еды! Благословенный час,
Ниспосланный голодным и усталым.
Кулеш, заправленный малороссийским салом,
Кипит, дымясь, в чугунном котелке.
Счастливый день, ниспосланный от Бога!
Возница мой увел коней к реке
На водопой, где мокрая дорога
Парома ждет. Но не спешит паром,
И мне уже не надо торопиться —
Куда спешить, когда уверен в том,
Что этот день не может повториться.
Дождь отшумел давно. Но солнца нет, как нет,
И длится час блаженного покоя.
И льется на поля такой чудесный свет,
Что кажется весь мир одетым в голубое.

1946

***

Что из этой жизни унесу я,
Сохраню в аду или в раю?
Головокруженье поцелуя,
Нежность неповторную твою?
Или, с детских лет необоримый,
Этот дикий, древний, кочевой
Запах неразвеянного дыма
Над моей родною стороной.

1947

***

Был влажный ветер — ветер низовой.
Был теплый дождь и золотая просинь,
И солнце было над моей рекой,
И я, весь вымокший, на глиняном откосе.

Сиял волнами полноводный Дон,
И радуга возвышенно сияла,
— Такой простор сиял со всех сторон,
Что у меня дыханья не хватало.

1947

***

Пролетели лебеди над Доном,
Тронулся последний лед.
Ветер голосом счастливым и влюбленным
Не шумит над степью, а поет.
Он поет: мне незнакома жалость.
Я не знаю, что такое грусть,
Все на свете мне легко досталось
И легко со всем я расстаюсь.

1947

1917 ГОД

Казакам вчера прислали с Дона
Белый хлеб, сузьму и балыки,
А двенадцать ведер самогону
Сами наварили казаки.
Не страшит очередная пьянка,
Стал теперь я крепче и сильней,
И душа, как пленная турчанка,
Привыкает к участи своей.
Сколько раз она слыхала сряду
Эту песню про зеленый сад:
Рассыпались яблоки по саду,
А казак не возвращается назад;
Понависли по-над Доном тучи,
Разгулялся ветер низовой,
Не водою, а слезой горючей
Хлынет дождь из тучи грозовой...

И не пленницей душа моя отныне,
А любовницею станет у стихов
В этот синий вечер на Волыни,
Среди пьющих и поющих казаков.

1947

***

Каждой мимолетности в угоду
Разделю я сердце пополам,
Но свою веселую свободу
Никому на свете не отдам.

1947

***

Равных нет мне в жестоком счастьи:
Я, единственный, званый на пир,
Уцелевший еще участник
Походов, встревоживших мир.
На самой широкой дороге,
Где с морем сливается Дон,
На самом кровавом пороге,
Открытом со всех сторон,
На еще неразрытом кургане,
На древней, как мир, целине, —
Я припомнил все войны и брани,
Отшумевшие в этой стране.
Точно жемчуг в черной оправе,
Будто шелест бурьянов сухих, —
Это память о воинской славе,
О соратниках мертвых моих.
Будто ветер, в ладонях взвесив,
Раскидал по степи семена:
Имена Ты их, Господи, веси —
Я не знаю их имена.

1947

***

Опять гроза! Какие грозы
У нас с тобою на пути!
И зацветающие розы
Не успевают расцвести.
Опять над нашим бедным садом,
Где должен встретиться с тобой,
Гроза кипит дождем и градом,
Гуляет ветер ледяной.

1947

***

Было их с урядником тринадцать
— Молодых безусых казаков.
Полк ушел. Куда теперь деваться
Средь оледенелых берегов?
Стынут люди, кони тоже стынут,
Веет смертью из морских пучин...
Но шепнул Господь на ухо Сыну:
Что глядишь, Мой Милосердный Сын?
Сын тогда простер над ними ризу,
А под ризой белоснежный мех,
И все гуще, все крупнее книзу
Закружился над разъездом снег.
Ветер стих. Повеяло покоем.
И, доверясь голубым снегам,
Весь разъезд добрался конным строем,
Без потери к райским берегам.

1947

***

Мне снился потрясенный лес
Убийством белочки-белянки;
Он, как толпа, шумел окрест
Заросшей ельником полянки.
И я услышал — в первый раз —
Под общий ропот возмущенья

Дубов взволнованный рассказ
О совершенном преступленьи,
И я увидел, как листва
С листвою в ужасе шепталась,
И ближней елки голова
Над мертвой белочкой склонялась.

1947

МОСКВА

Петру Кумшацкому

Заносы. Сугробы. Замерзшие глыбы
Сползающих с кровель снегов.
Цепные медведи вставали на дыбы,
Ревели от холодов.
У Темных, у Грозных, у Окаянных
За шерстью не видно лица:
Иваны, Иваны и снова Иваны,
И нет тем Иванам конца.
До белого блеска сносилась верига.
На улицах снежная муть.
Татарское иго — Московское иго:
Одна белоглазая чудь!
Что было однажды, повторится снова,
Но неповторна тоска.
На плаху, на плаху детей Годунова:
Москва ударяет с носка!
Пылает кострами Замоскворечье,
Раскинулся дым по базам,
Сожгли Аввакума, затеплили свечи:
Москва не поверит слезам!
Москва никому не поверит на слово,
Навек прокляла казаков,
И выпила черную кровь Пугачева
И Разина алую кровь.
Метели все злее. Завалены крыши.
Москва потонула в снегах.
Но чьи это души, все выше и выше
Плывут над Москвой в небесах?
В теплицах цветут басурманские розы,



На улицах — снежная муть.
Толстой — босиком, на машине Морозов
Свершили положенный путь.
Цыганские песни. Пожары на Пресне.
А вот — и семнадцатый год.
Все выше и выше, просторней, чудесней
Души обреченный полет.
По небу полуночи... Черное небо,
А хлеб еще неба черней.
И шепотом, шепотом: корочку хлеба
Для беспризорных детей.
Но как при Иванах, при Темных, при Грозных
Молитвам не внемлет земля.
По небу полуночи... Красные звезды
Мерцают на башнях Кремля.

1947

***

«Як помру я»
Тарас Шевченко

Не со сложенными на груди, а с распростертыми руками, готовыми обнять весь мир, похороните вы меня.

И не в гробу, не в тесной домовине, не в яме, вырытой среди чужих могил, а где-нибудь в степи поближе к Дону; к моей станице, к старому Черкасску, на уцелевшей целине, меня в походной форме положите родного Атаманского полка.

Кушак на мне потуже затяните, чтоб грудь поднялась, будто бы для вздоха о том, что все на свете хорошо...

И сыпьте землю, не жалея: земля к земле и к праху прах!

Мне положите в головах все то, что я писал когда-то, — чем жил во сне и грезил на яву...

И крест из камня дикого поставьте, курганчик новый крепко утоптав, чтоб Дон, разлившись полою водою, его не смыл, а только напоил.

И по весне на нем веселым цветом начнет цвести лазоревый цветок, приляжет отдохнуть, уставший от скитаний, бездомный чабрецовый ветерок.

1947

ТРЕББИЯ

Увозили раненых. Убитых
Зарывали наспех. Бивуак
Был в кострах. У придорожного корыта
Двух коней поил седой казак.
Кони пили жадно. Над полями
Свет стоял вечерний, золотой.
Дым стоял над русскими кострами,
Горький дым в долине голубой.
Треббия. Италия. Из чашки
Щи хлебал неспешно старичок,
В пропотевшей бязевой рубашке,
Бросив полотенце на плечо.
Треббия. Италия. А где-то
Есть Кончанское — родительский порог.
Нет конца, и края нет у света
Для солдатских полусбитых ног.
Нет суровее солдатских разговоров:
Об увечьях и о смерти, наконец.
— Александр Васильевич Суворов
Не фельдмаршал, а родной отец.

1947

***

Ветер был такой ужасный,
Что, казалось, все деревья
Будут вырваны с корнями,
В поднебесье улетят,
Где дымился темно-красный,
В тучах с медными краями,
Разгораясь постепенно
Ужасающий закат.
И, казалось, что на свете
Никогда уже не будет
Ясных дней, ночей спокойных,
Жизни мирной и простой,

— Будет только этот ветер,
Тучи в огненной полуде,
Да осенний лес шумящий,
С облетевшую листвой.

1948

***

Никто нас не вспомнит, о нас не потужит;
Неспешной водой протекают года.
И было нам плохо, и станет нам хуже,
— Покоя не будет нигде, никогда.
Да мы и не ищем спокойного года,
Да нам и не нужен покой:
Свобода еще с Ледяного похода
Для нас неразлучна с бедой.

1948

***

Бог спас деревню от беды!
Поля завалены снопами,
Стоят счастливые сады,
Отягощенные плодами.
Теперь ничто им не грозит —
Ни град, ни засуха, ни ветер,
И синева легко сквозит
Сквозь листья...
Маленькие дети
Спешат веселою гурьбой
Туда, где опадают сливы,
Они счастливы, Боже мой,
По настоящему счастливы,
Как день воскресный без забот,
Как звон пчелы домой летящей,
Как этой ласточки полет,
Такой воздушный и скользящий.

1948

***

Любезны мне пчела и муравей —
Бог знает, кто из них трудолюбивей, —
И праздный полуночник-соловей,
И ворон-вор, гуляющий по ниве.

Лежу в траве. Гляжу — не нагляжусь
На облака, на небо голубое,
Родное, недалекое — такое,
Что, кажется, рукой его коснусь.

1948

***

Поскупей на слова, посуровей;
Но нежней и сердечней втайне,
Не боясь ни смерти, ни крови,
Ни в жизни, ни на войне.
Короче, как можно короче,
В стихах о себе, о судьбе.
Но всецело: и дни, и ночи —
О тебе, о тебе, о тебе.

1948

***

Под утро на вечере этом
Стояла жемчужная мгла,
И был я подростком-кадетом,
А ты институткой была.
И жизнь начиналась сначала
Под утро на этом балу,
Всю ночь ты со мной танцевала,
Кружилась на скользком полу.
И музыка, музыка! Снова
Казалось нам прошлое сном,
И жизнь прожитая в оковах
Лежала в снегах за окном.



И как над безвестной могилой,
Над прахом, над снегом, — над ней
Бессмертно сияли светила
Твоих изумленных очей.

1948

***

Казалось бы: пора и на покой, —
Кой-что забыть, со многим примириться
По осени в дубраве золотой
С минувшим летом распроститься.
Дни холодней. И скоро первый снег
Слетит с небес, закружится по полю;
Но вот — древесный молодой побег
Еще упорно тянется на волю,
Еще трепещет свежею листвой,
Когда вокруг давно все омертвело...
Моя душа, что делать мне с тобой,
Любовь моя, что мне с тобою делать?

1949

***

Почему с утра я полупьяный —
Захмелел внезапно без вина,
И не улица, а светлая поляна
Мне сегодня из окна видна;
Не дома парижского предместья,
А деревья распушились по весне,
И шумят с весенним ветром вместе
И стучат во окно ветвями мне...
Боже мой, откуда столько счастья
О котором рассказать нельзя, —
Почему мне: и Твое участье
И все люди, до единого, друзья?
Ведь кругом все смутно и неверно,
А я сам давно погряз в грехе...
Это кто-то написал наверно
За меня хорошие стихи.

1949

***

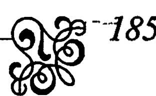
И снилось мне, что будто я
Познал все тайны бытия,
И сразу стал мне свет не мил,
И все на свете я забыл,
И ничего уже не жду,
И в небе каждую звезду
Теперь я вижу не такой,
Как видел раньше — золотой —
А бледным ликом мертвеца,
И мертвым слухом мудреца
Не слышу музыки светил.
Я все на свете разлюбил,
И нет в груди моей огня,
И нет людей вокруг меня...

И я проснулся на заре,
— Увидел церковь на горе,
И над станицей легкий дым,
И пар над Доном золотым,
Услышал звонких петухов,
— И в этом лучшем из миров
Счастливей не было людей
Меня, в беспечности своей.

1949

ЗНАМЯ

Мне снилось казачье знамя,
Мне снилось — я стал молодым.
Пылали пожары за нами,
Клубился пепел и дым.
Сгорала последняя крыша,
И ветер веял вольней,
Такой же — с времен Тохтамыша,
А, может быть, даже древней.
И знамя средь черного дыма
Сияло своею парчой,
Единственной, неопалимой,



Нетленной в огне купиной.
Звенела новая слава,
Еще неслыханный звон...
И снилась мне переправа
С конями, вплавь, через Дон...
И воды прощальные Дона
Несли по течению нас,
Над нами на стяге иконы,
Иконы — иконостас;
И горький ветер усобиц,
От гари став горячей,
Лики всех Богородиц
Качал на казачьей парче.

1949

ПЕРЕПРАВА

Музе

Стояла на башне Азова,
И снова в боях постоишь,
Вручала мне вещее слово,
И снова другому вручишь.
Одна ты на свете, родная!
Идут за годами года,
Летит стрепетиная стая,
Струится донская вода.
И где бы, и с кем бы я не был,
Меня ты повсюду найдешь,
Под это высокое небо
На берег степной приведешь;
В предсмертный туман, без возврата,
Где ждет меня черный паром:
Мой прадед стоит у каната,
Прабабка стоит за веслом.
И буду уверен, что близ ты
В тумане стоишь над рекой;
Направо — туман золотистый,
Налево — туман голубой.

1950

РАЗЛУКА

à Sainte-Geneviève-des-Bois

1

Смерть не страшна: из праха в прах,
— Ты подождешь, друг милый,
Меня в молчаньи и в цветах
Супружеской могилы.
Кому-то надо подождать:
Господь решает просто,
Кто должен раньше отдыхать
В земном раю погоста.
Мы все уходим налегке,
Видав на свете виды,
И щебет птиц в березняке
Поет нам панихиды.
А купол церкви голубой
Плывет воздушным шаром...
Какой покой! Друг дорогой,
Мы прожили недаром!

2

Хорошо, что ветер. И звезда такая,
Что уже на свете нет другой звезды.
Для меня одна ты светишь, золотая,
На меня глядишь ты с черной высоты.
Никакого горя, никакого гроба —
Только бы до встречи поскорей дожить.
Хорошо, что вместе так прожили оба,
Как на этом свете никому не жить.

3

Еще весь лес такой сквозной,
Что виден издали подснежник,
Над прошлогоднею листвой
Он всех цветов белеет прежде.



Ему и дела нет, что здесь
Зимою не бывает снега, —
Весенний первенец, он весь
Свидетель зимнего побега.
Иду в блаженном полусне.
Вокруг все так легко и просто,
И не препятствует весне
Соседство русского погоста.

4

Нет воздушней этого тумана,
Призрачнее нет голубизны,
Только надо выйти спозаранок
К перелескам Женевьевской стороны.
Город близок. Но весна поближе,
Мимолетная французская весна,
Даже к верноподданным Парижа
Благосклонна и внимательна она.
Жизнь еще не прожита, отпета.
Встреча будет, только погоди.
Впереди счастливейшее лето,
Много света будет впереди.

5

Не говорить и не писать, не думать,
А только сердцем чувствовать, что ты
Вот здесь, вдали от городского шума,
Со мной глядишь на деревенские цветы,
Но это медленно стареющее лето,
Которое не хочет уходить,
Все ждет, Бог весть, какого-то ответа
И до конца все хочет пережить,
На эти голубеющие склоны
Полей над безымянною рекой
И на дубок, такой еще зеленый,
Что нет сомнений: встретимся с тобой!

6

Глядеть, глядеть! И глаз не отрывать,
И знать, что никогда не наглядеться
На Божий мир. Какая благодать,
Какая радость для стареющего сердца.
И здесь, в чужом, и там, в родном краю,
В деревне под Парижем и в станице,
Где жег огнем я молодость свою,
Чтоб никогда потом не измениться,
Все тот же воздух, солнце... О простом,
О самом главном: о свиданьи с милой
Поет мне ветер над ее крестом,
Моей уже намеченной могилой.

1950-52

***

Мороз крепчал. Стоял такой мороз,
Что бронепоезд наш застыл над яром,
Где ждал нас враг, и бедный паровоз
Стоял в дыму и задыхался паром.
Но и в селе, раскинутом в яру,
Никто не выходил из хат дымящих, —
Мороз пресек жестокую игру,
Как самодержец настоящий.
Был лед и в пулеметных кожухах;
Но вот в душе, как будто, потеплело:
Сочельник был. И снег лежал в степях.
И не было ни красных и ни белых.

1950

***

Отныне, навеки и присно!
Господь, оглянись на слугу:
Для Тебя ведь казачьи письма,
Как святыню, я берегу.
Они писаны потом и кровью,
Непривычной к писанью рукой,

С твердой верой в Тебя, и с любовью
К человеческой правде мирской.
И во сне, как в священном обряде,
На коленях, во прахе, скорбя,
Я стою пред Тобой на докладе —
За бездомных прошу я Тебя:
В чужедальних краях, без причала,
Казакам и не снится покой —
Приласкай на земле их сначала,
А потом у Себя успокой.

1950

***

Мы ничего ни у кого не просим.
Живем одни, — быть может, потому,
Что помним добровольческую осень
И наше одиночество в Крыму.
Тогда закат раскрыл над нами веер,
Звездой вечерней засияла высь;
С утра мы бились с конницей — на север,
Потом — на юг — с пехотою дрались.
Мы тесно шли, дорогу пробивая.
Так бьет в утес девятая волна.
Последний бой! Идет не так ли стая
Волков, когда она окружена?
И мы прошли. Прошла и эта осень,
Как бег ночной измученных коней —
Еще не знали, что с рассветом бросим
На пристани единственных друзей.

1950

***

Мы уходили налегке,
Мы уплывали торопливо
На взятом с боя челноке,
В волнах осеннего разлива,
И быстроводная река

В крутых кругах водоворотов
Несла нас, пенясь и кипя...
Как хорошо! Но жаль кого-то.
Кого? Но только не себя!

1950

ПУТЬ

Твой отец в далекой ссылке,
Мать его не дождалась,
Поклонись ее могилке,
Истово перекрестясь.
Уцелевшего соседа
Ты под вечер навести —
Потаенная беседа
И прощальное «прости».
Ты не мальчик! Все пятнадцать
На плечах твоих годов,
В эти годы нужно драться,
Надо знать своих врагов.
Говорят — и правда это —
У какой-то там реки,
В чужедальнем крае где-то
Проживают казаки.
Уходи, пока не поздно,
Взять землицы не забудь,
И по солнцу, и по звездам
Ты найдешь свой верный путь.

1951

ШЛЯХ

Все те же курганы
И гетманский шлях,
Седые бурьяны
На снежных полях,
А вечером поздно,
Уже наверху,



Знакомые звезды
На Млечном шляху.
В морозной полуде
Родное окно —
Какие-то люди
Живут здесь давно,
И дом мой им тоже
Такой же родной,
Как будет он позже
Для смены другой.
Приходят, уходят
И снова придут,
Но старые песни
Уже не поют,
Никто и не знает
О песне такой:
За Доном гуляет
Казак молодой!

1951

***

Дети сладко спят, и старики
Так же спят, впадающие в детство.
Где-то, у счастливейшей реки,
Никогда не прекратится малолетство.
Только там, у райских берегов,
Где с концом сливается начало,
Музыка неслыханных стихов,
Лодки голубые у причала;
Плавают воздушные шары,
Отражая розоватый воздух,
И всегда к услугам детворы
Даже днем немеркнущие звезды.
И являются со всех сторон
Человеку доверяющие звери,
И сбывается чудесный сон,
Тот, которому никто не верит.

Только там добры и хороши
Все, как есть, поступки и деянья,
Потому что взрослых и больших
Ангел выгнал вон без состраданья.

1951

***

Что и не снилось мудрецам?
Об этом знают, может, птицы,
Передают своим птенцам,
Когда пора им опериться.
Об этом знает, может, мать,
Когда она дитя жалеет,
Но вот не может передать
И даже высказать не смеет.
Об этом музыка звучит.
Шумят леса и камни знают,
Когда все звездные лучи
На эти камни ниспадают.
Об этом знает целый мир,
Но вот от века и до века,
Как собеседника на пир
Не позовет он человека.

1951

***

Кажется, все сказано и спето,
Все, что было выпито до дна.
Франция, люблю тебя за это,
Предосенняя моя голубизна.
Все, что надо и не надо, отдавала,
И еще готова дать;
Но не то, что тайно сберегала
И которого никак не взять.

Что ж, еще, голубушка, помучай
Человеческие, варварские сны
Этой долей — самой трудной, лучшей —
Все еще возлюбленной жены.

1951

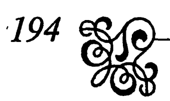
ЯРМАРКА

1

Это было опять в воскресенье,
Но теперь — у восточных ворот.
Тот же пригород, ветер весенний,
Та же ярмарка, тот же народ,
Карусели, зверинец и тот же
Старый лев за решеткой такой,
Что, казалося, выломать сможет
Эти прутья мальчишка любой.
Проходили воскресные люди:
Длинный день без забот и хлопот,
И стоял перед клеткою пудель,
Самый страшный собачий урод.
Он рычал, вызывая на драку,
Вспоминая собачьи слова,
И никто не одернул собаку,
Пожалев беззащитного льва.

2

Мне обезьяна вытащила счастье,
Бумажку голубую, и на ней
Написано: Созвездье Водолей
Вас сохранит от всякого несчастья.
Одиннадцатый месяц... Зодиак...
Что знаю я об этом Водолее?
Но вот поверил, и поверил так,
Что стало все вокруг меня светлее,



И нет злодеев и плохих людей.
И ты стоишь у дома на подъезде
Веселой памятью давно минувших дней,
Сиявших нам на родине созвездий.

3

Снова дивные затеи,
И арена, и лакеи;
Ты взлетаешь над толпой
Акробаткой цирковой.
Не звучит смешное слово
И боится старый клоун:
Недостаточно высок
Полотняный потолок.
Все тревожней скрип трапеций,
Все счастливей бьется сердце
И, в сияньи голубом,
Ты уже за потолком.
Боже мой, как небо звездно!
Никогда еще не поздно —
На землю, домой,
Вниз головой.

4

Предпраздничная давка,
И в детской толчее
Теперь любая лавка
В архангельском луче.
Картонная корона,
Улыбка на устах,
Французская мадонна
С младенцем на руках.
И дети, дети, дети
Несметною толпой,
Как жизнь, как звезды эти
В Париже надо мной.

1952-53



ВОДОЕМ

Как хорошо! Шумит вода,
В дубраве горлица воркует,
Недаром мы пришли сюда,
И ветер нас с тобой целует.
Как хорошо! И мы уйдем,
И вместо нас придут другие.
Беды не будет: в водоем
Слетают капли дождевые.

1953

ПАМЯТЬ

In vino veritas

Чем себя утешить?
                    Только память —
Идол неразлучный мой —
Жаркое повстанческое знамя
Поднимает на вершине снеговой.
Чем себя потешить?
                    Только этим,
Бедняку доступнейшим вином:
Десять строк у стойки, на рассвете
В дивном одиночестве моем.

1953

БАЛЛАДА

Страшное дело. Черная ночь.
С ведьмой жила черноокая дочь.
Дева была холоднее, чем лед.
А под окошком, всю ночь напролет,
Старая ведьма водила коня:
Конь мой потом не глядел на меня.

1953

***

Святого Лазаря вокзал,
И звездная дорога,
Опять на поезд опоздал,
Задумавшись немного.
Опять уходят поезда
И с грохотом, и с дымом,
Но путеводная звезда
Меня уводит мимо.

1953

***

Печальный день, похожий на разлуку,
Ушел в туман и не придет назад.
Уже не видя, узнаю по звуку
Начавшийся в тумане листопад, —
Каким-то чудом долетевший шорох
Внезапно сиротеющих лесов,
Какой-то сонный отголосок хора
Таинственных древесных голосов.

1953

БУНТ

Качаясь на плотах, висели казаки,
Спускаясь вниз по Дону караваном
Судов, еще не виданных в степи.
Река несла их бережно.
                                        В пустыне
Все было тихо.
                                  За Пяти-избянской
Плоты пошли быстрее.
                                        По низовью
Встречали их достойно казаки
Церковным звоном.
                                    На юртах Черкасска,



У берегов стоял большой майдан,
На все майданы непохожий.
Молча
Все разом опустились на колени:
Земной поклон плывущим казакам.

1954

КУКАН

Разрозовевшийся восток,
Заветный час подходит ближе,
Заволновался поплавок,
Который был так неподвижен.
Любить легко, но надо знать —
Всему есть опыт и наука;
Нельзя лещенка подсекать,
Когда клюет большая щука.
Непрекращающийся клев
Надежд веселых не обманет.
О, как велик уже улов,
У ног плывущий на кукане!
Неспешно пролетает день,
Похожий на большую птицу,
И вечер — розовый плетень —
Зовет к покою прислониться,
Колышет медленную зыбь,
Кукан баюкает на зыби...
Я выпущу на волю рыб,
Верну свободу каждой рыбе.
Но мой порыв пойдет ли впрок,
Напомнит им о смерти либо?
Не поведет ли поплавок
Уже наказанная рыба?
Вот так, побывшие в плену
Не сразу доверяют воле,
И пережившие войну
Опять твердят о ратном поле.

1954

ВЕРТЕП

В самой темной, снежной, непробудной,
Бесконечно затянувшейся ночи
Вдруг почувствовать торжественно и чудно
Глазу недоступные лучи.
Вдруг увидеть голубые дверцы
В тот вертеп, где расступилась тьма,
И твое младенческое сердце
Двухтысячелетняя зима.

1955

КУЗНЕЧИК

Все мы с детства знаем: к Рождеству
Все на свете и чудесней, и добрее.
Снег, упавший на опавшую листву,
Под листвой кузнечика согреет.
И на елках, зеленеющих вокруг,
Разноцветные зажгутся свечи.
Рождество, мой музыкальный друг.
Рождество, мой дорогой кузнечик.
И скрипач весною с торжеством
Воскресение прославит в песне.
Все мы с детства знаем: Рождеством
Все необычайней и чудесней.

1955

ДЕРЕВНЯ

1

Хлеба. Дорога. Ни души.
Все замечательно и просто.
Тяжелый памятник Груши
В начале сельского погоста.
А дальше легкие кресты
Иных, негромких поколений;



Из века в век стоят мосты
Для молчаливых поселений.
Всем хватит места. И земля
Не беспокоится об этом.
Опять дорога и поля
Под торжествующим рассветом,
И недалекое сельцо,
Восходят дымы тиховейней
И полусонное крыльцо
Гостеприимнейшей кофейни.
Я выпью ром, ты — молоко,
Черед, придуманный не нами.
Шагай просторно и легко
И веселей маши руками.

2

Цветет французская заря
Над пробудившейся деревней.
Нет, я сюда пришел не зря,
Вот к этой церкви очень древней.
Какой-то баснословный век,
На предыдущий век похожий;
Средневековый человек,
Как я теперь, здесь был прохожий.
И это нас роднит. Века,
На книжных полках тяжелея,
Играют с нами в дурака,
Чем дальше — больше и вернее.
И мы, потворствуя векам,
Все реже вспоминаем встречи,
С небес ниспосланные нам,
Совсем простые, человечьи.

3

Зодчий, зодчий! Что ты строишь — отчий
Или новый, незнакомый дом?
Скоро осень. Дни уже короче.
Надо бы подумать о другом.

Крот жилище под землею роет,
Птица вьет воздушное гнездо,
Человек себе хоромы строит,
И всегда не так или не то.
Как бы нам найти небесной манны,
Чтобы жить по-Божьи без гроша?
Помнишь наш донской курень саманный
С кровлей из простого камыша.

4

Будут уничтожены деревья,
Будут уничтожены поверья,
Что деревья нас перерастут,
Вечно устремляясь в высоту.
Будет поле. Обмелеют реки.
Еще ниже станут человеки,
Повторяя вещие слова:
Все на свете трын-трава.

5

Что-нибудь такое,
Детское, простое,
Всем давным-давно
Знакомые слова:
Небо голубое,
Солнце золотое,
Глаз твоих веселых
Зеленей трава.

6

Стакан вина. Благословенный хмель.
Конечно, мир доверчив и прекрасен,
Как этот приблудившийся кобель,
У ног моих лежащий на террасе.

1955-56



***

Веял ветер. Осыпался колос.
Среди звезд плыла на юг комета.
Был твой нежный, потаенный голос
Голосом с другого света.
Перечислены давно все звезды,
Наливаются и осыпаются колосья;
Но как редко сквозь привычный воздух
Ветер музыку нездешнюю доносит.

1956

***

О главном, непокорном — о стихах,
О ненаглядном — о природе,
Вновь расцветающих цветах,
О драгоценном — о свободе
Ты говорил. Сибирских лагерей
Вотще осталось угнетенье.
Христос Воскрес! И все нежней
Ты веришь в праздник воскресенья.

1956

***

По крутогорью бродят овцы,
Ища промерзлую траву.
Туманный день. Не греет солнце.
Палю костер и пса зову.
Иди, мой пес, сюда погреться.
Смотри, какая благодать!
Вот так бы сердцу разгореться
И никогда не остывать.

1957

***

Мы глохнем к старости и ощущаем хуже
Весь этот мир и всех его людей,
Смеемся невпопад и невпопад мы тужим,
В плену своих навязчивых идей,
Которым грош цена.
                              Скудеющие души.
Воспоминания опять ведут туда,
Где отчий дом, наверное, разрушен,
И мы уже забыты навсегда.
Воспоминания...
                         Но вот,
В пролет разрушенного дома
Вдруг засияет небосвод
Так неожиданно знакомо,
С такой степною простотой,
Что ничего уже не надо,
Ни мертвых, ни живых, ни сада,
Где мы увиделись с тобой.

1957

***

Я хочу устать.
Чтобы спать и спать.
Но опять во сне
Ты идешь ко мне
И лежишь со мной
До утра живой.
Не прощанье, только до свиданья,
Никакой нет тайны гробовой,
Только потаенное свиданье,
Все, что хочешь, только не покой.

1957

***

Он был пришельцем из другого света,
Стихами одержимый караим,
И ангел был особенного цвета,
Как ночью озаренный дым.



Тифозный бред. Теплушка. Человечий
Призыв о нежности в семнадцатом году.
Снега, снега. И ангельские речи
В сорокоградусном бреду.

1957

***

Есть что-то оскорбительное в том,
Что этот наглый и беспутный ветер
Ломает розы и летит потом
Для новых буйств на беззащитном свете.

1957

***

Не влюбленность, а любовь и жалость,
Не весна, а осень впереди:
Очень кратковременная старость,
С очень краткой жизнью позади.
Только жить, как верится и снится,
Только не считать года,
И в Париже, где чудесные больницы,
Не лечиться никогда.

1957

***

У тебя свои заботы.
У меня свои забавы.
Расходиться? Что ты, что ты:
Оба мы с тобой неправы.
И не может одинаков
Жребий быть у нас с тобою —
У меня молчит собака,
У тебя собака воет.
Значит, так и надо. Что же
Огорчаться по-пустому,
Каждый пусть живет как может,
А никак не по-другому.

1957

***

Я гадал в лесу: когда же,
Наконец, меня уважишь
И приедешь к старику?
Но болтунья и пустушка,
В этот странный день кукушка
Онемела на суку.
Дивные бывают вещи.
Обратился к птице вещей,
Чтоб узнать, на сколько дней
К новой хижине моей
Ты приедешь.
«Никогда!» —
Каркнул ворон.
«Навсегда!» —
Отвечал я ворону,
Отвернувшись в сторону.

1958

***

Милый мальчик с грустными глазами,
Милый пальчик ангельской руки;
Никого знакомых между нами
Нет, напоминающих таких.
И хмельней вина моя отрада —
Знать и негодуя, и любя,
Что, когда мне жить не станет надо,
Жизнь едва начнется для тебя.

1958

***

Нельзя все время пировать,
Нельзя все время ликовать
И знать, что только жду я
Вина и поцелуя.



Нельзя! Но может быть, потом,
За незамеченным трудом
Свою увижу тень я —
Ненужные сомненья.

1959

***

За стихов нежданное начало,
Музыку нежданную стихов,
Проплывающих над нами без причала,
На стихи похожих облаков, —
Я не знаю, — за цветочки ль эти,
Беленький горошек у межи,
Только стоит жить на этом свете,
Долго еще стоит жить.

1959

***

— Где мой отец?
— Он на войне,
— Но нет войны!
— Она все длится.
— Но мне отец опять приснится.
Где мой отец?
— Ах, перестань!
— Его я часто вспоминаю,
Он где-то близко.
— Перестань:
Я ничего о нем не знаю.

1959

НОЧЬ

Роману Гуль

Снег в ночи светился на скале.
Под скалою, в сакле, перебранка.
Негритянка ела белый хлеб,
Пушкинская мама, негритянка.

Лермонтову было не до сна,
Ангелы метались в поднебесьи.
В преисподней волновался сатана,
Собираясь Тютчева повесить.
Было все как будто невпопад.
И, событий в мире не касаясь,
Звездный низвергался водопад,
Над землей все выше поднимаясь.

1959

ПОЛУСТАНОК

На каком-то полустанке
Ни часов, ни расписаний,
Удивительно бесшумно
Пролетают поезда.
Сновиденческое место
Предназначенных свиданий,
Всех, кого сюда приводит
Путеводная звезда.
Может длиться ожиданье
Очень долго.
                    На мгновенье
Остановится курьерский,
Содрогаясь, весь в пару.
Снег да ветер!
                    Расставанье,
После долгих лет разлуки,
Европейских променадов,
Вновь в снегах и на ветру.
— На Кавказ!
                    — Стокгольм!
                                  — На Вислу!
Ты опять на Монпарнассе?
Сумасшедший поезд свистнул
И умчался восвояси.

1959



В КАФЕ

Что лучше может быть пустынного кафе
Под вечер на окраине Парижа.
Париж лежит на голубой софе
И ничего не видит и не слышит
Направо от меня. И я гляжу в окно:
Его тысячелетний профиль
Увидеть всем уже пора давно
Отсюда. Ром, крепчайший кофе
Ему под стать, да и тебе под стать,
Стареющий пришелец без возврата;
Вот только б вспомнить, записать,
Что снилось мне на родине когда-то.
И на углу трактирного стола
Пишу, что дома не писалось,
Что ты жива, не умерла,
Как мне случайно показалось.

1959

КАНИКУЛЫ

Тикусе В. Федоровой.

1

Мне тайный голос говорил:
«Не убивай — беда случится!»
И руку мне остановил
Пред к смерти обреченной птицей.
Но мой парижский карабин
Был этим очень недоволен:
«Ты мне уже не господин,
Ты надо мной теперь не волен».
И вспыхнул спор со всех сторон.
О, неуемная природа!
И к дубу я прибил картон
С изображением урода.
Мой карабин, пора: стрельба!

Мы всаживали пулю в пулю.
Железный друг, твоя судьба
Вся расстрелялася в июле.
И дуб все пули принимал
И только шелестел над нами
О том, что кончен наш привал,
Тысячелетними ветвями.

2

Господи, сколько счастливых
И одиноких людей.
Опадают созревшие сливы
Во французской деревне моей.
И соседка — из прошлого века —
Все твердит о своей красоте,
Все летает на крыльях калека
На невидимой нам высоте.

3

Опять приют знакомых мест.
Иду заросшею тропою.
И юный дождь и старый лес
Шумят о жизни надо мною.
Зайду под дуб, и нет дождя.
Ах, эти капли дождевые,
Шуршащие, поющие, живые,
Победные над ветхостью плаща.

1960

***

Памяти А. Н. Бенуа

Как будто бы я в Петербурге.
На службу опять не пойду.
Сижу на скамье в Люксембурге,
В древнейшем парижском саду.

И хор, исключительно птичий,
Поет, не уставая:
У нас Катерина Медичи,
У вас Катерина другая.

1960

***

Осенний день в окрестностях Парижа.
Газон. В окне необычайный свет,
Который окончательно пронижет
Тебя, спустя еще немного лет.
И ничего не трогать и не двигать
Решаешь ты, мой книжник-чудодей,
И прошлое, как адресная книга,
Уже несуществующих людей.

1960

ЛАЗАРЕТ

1

Уезжаю сегодня в карете —
Не надолго, на несколько дней.
Это Лазарь в моем лазарете
Запрягает в карету коней.
Запрягает, потом распрягает:
Запретил чужестранствия врач.
Кони знают, а Лазарь не знает,
Что такое беспомощный плач.

2

Как хорошо: я должен покидать
Свою тюрьму, свою больницу.
Мне жаль уже свою кровать
И одиночную темницу,
Где, за решетчатым окном,

Стоит такой же скучный дом.
Нельзя все время есть да спать,
Не волноваться, не стремиться.
Куда? Не знаю. Но опять,
Когда припадок повторится,
Вернусь я с нежностью сюда
Уже надолго — навсегда!

Господи, сколько калек
Здесь остается навек.

3

— Вы были в Африке?
— Я служил в Легионе!
Из парижских разговоров

Я еще не меняюсь в лице,
Но теряю последние силы:
Это редкая муха Цеце
В легионе меня укусила.
Это значит: приходит пора
С концом примириться железней
Удивляются все доктора
Неизлечимой болезни.
Это значит: не спать, а дремать,
Не прося у людей состраданья.
Кто смерть?
Ах, покойная мать
Вызывает меня на свиданье.

4

Хорошо, что кончается время
У каких-то воздушных перил.
Я казачье старинное стремя
Под подушку себе положил.
Ничего мне больше не снится,
Стал мой мир изумительно прост.
И босяк с хризантемой в петлице
Меня увлекает под мост.

1961

***

Ты пьян, Хайям,
И это — хорошо
Омар Хайям, (1123)

Только розы из Шираза,
и фантазия.
Воспоминаньями могилы поросли.
Персики, и Персия,
и Азия.
Первопричастница земли.
Азия, поэзия! Тысячелетия
Пред тобой стоят. И постоят еще.
Ты прав, Хайям, в своем великолепии.
Ты пьян, Хайям, и это — хорошо.

1961

СОМ

Как рыба, плавать в глубине
И Божий свет не видеть,
Как черный сом, лежать на дне
И солнце ненавидеть.
Как человечий легкий рок,
К созвездьям поднимаясь,
Лететь назад, лететь в проток,
Крестясь и чертыхаясь.
Как... Я не знаю. Но потом,
По-братски сдвинув плечи,
Лежат на дне и черный сом,
И остов человечий.

1961

ЗИМА

1

Все верит в молодость свою,
Которую никто не знает.
«Была зима. Я был в бою.
И снег уже не тает!»

Побойся Бога: тает снег.
«Возможно. И, порою,
Я верю в это.
Ах, набег
Корниловской зимою».

2

Уезжала на работу мать,
Ежедневную тяжелую работу.
Как же ей ребеночка не взять,
На работу — лучезарную заботу.
Возвращалась мать домой.
Устало
Спал ребенок на коленях.
Как всегда,
За окном автобуса сияла
Та же Вифлеемская звезда.

1962

***

Что возразить тебе? Ах, бесполезно!
В потоке жалоб и угроз
Уже дрожит единственный, железный
Мой в этой жизни нерушимый мост.
Все верх ногами в сокрушительном потоке:
Обломки покаяний и грехов,
Дела и люди — строки, строки,
Тобой переиначенных стихов.
Любовь к стихам — чудесная обуза,
Любовь к стихам — крушенье и беда.
И мечется испуганная муза,
Сгорая от девичьего стыда.

1962

***

Дочь моя жила на воле:
Приальпийские леса,
И, на память о Тироле,
Мне подарок привезла.

Ах, тирольская избушка!
Не избушка, а часы.
В них живет моя кукушка
Изумительной красы.
Не на гибель, а на счастье
Прокукуй мои года.
Кто ты неизвестный мастер?
Не узнаю никогда.

Не страшна тому черная ночь,
У кого есть взрослая дочь.

1962

***

Мне стыдно поднимать глаза
На самохвальные писанья.
Была гроза, прошла гроза —
Остались лишь воспоминанья;
И вот, во имя новых гроз,
В молниеносной передышке,
Пиши о том, что перенес
В крови, в слезах — не понаслышке,

1962

***

«Каждый день — одно и то же.
Бесконечны вечера,
И сегодня так похоже
На бездарное вчера.
Каждый день и каждый вечер...»

— Ну-ка, Муза, погоди:
Расцелованные плечи,
Ночь, и мальчик на груди.

1962

***

Ты пил вино. Но не оно тебя.
Еще не ведал темного похмелья.
Держался ты, и только за себя.
Был каждый день, как новоселье.
Ты прожил жизнь чудесную. Уже
Пора домой, в родные степи,
Рожденному на рубеже
Великолепнейших столетий.

1963

ДЕРЕВЦО

Н. Г. Стортенбекер.

Гляжу в окно, залитый светом.
Пейзажа нет! Есть деревцо.
Не надо быть большим поэтом,
Чтоб полюбить его лицо,
Еще зеленое такое
На фоне уличных построек.
Мы оба с ним обречены
Уже не ждать другой весны.
Не надо быть большим поэтом,
Не надо жить в большом лесу.
Есть деревцо!
Люби за это
Его прощальную красу.

1963

***

И возложил поэт
на плечи епанчу.
А Тютчев положил
свой коврик на колени.

Я видел сон. Мне снилась ты
Уже в когтях у сатаны;
Но легкий ангел прилетел,
И спас тебя, и улетел.



И ты опять идешь в стихи
Как в некий сад. За все грехи
Ты отвечаешь смело.
Дай Бог, чтоб уцелела!

1963

***

Был снежный лог. Потом зеленый лог.
Опять весна. Медведице не спится.
Медведя нет. А он бы ей помог
Сберечь детей, оборониться.
А вот и смерть. Она взвела курки
Охотнику. Но он, к сосне прижатый,
Увидел обнаженные клыки
Медведицы, с которой медвежата.
Был некий миг. Потом — внезапный гром:
Нежданных ангелов заслуга.
Бежала смерть. Медведица потом,
На поиск опоздавшего супруга.
И гаркнул ворон громогласно: кра!
И зайцы изумленные присели.
И лес шумел веселое ура
Несостоявшейся дуэли.

1963

***

У отцов свои преданья,
У отцов свои грехи:
Недостроенные зданья,
Непрочтенные стихи.
И ни в чем уже не каясь,
Лоб крестя иль не крестя,
Подрастает, озираясь,
Эмигрантское дитя.

1963

ЭЛИЗИУМ

Элизиум — загробное воздаяние
Пиндар (522-448 до Р. Х.)

Русским старческим домам

1

Мы дети верные войны.
Идут года, приходят войны,
И обетованной страны
Твоей, Элизиум, достойны,
Не все уже и дым, и прах,
От нас еще ложатся тени,
Элизиум, в твоих садах
Богоугодных заведений.

2

Пора, мой старый друг, пора,
Зажились мы с тобою оба,
И пожилые юнкера
Стоят навытяжку у гроба.
Им также надо отдохнуть,
Нельзя терзать людей без меры.
Скажи из гроба: в добрый путь,
Законченные офицеры.

1963

ДОБРОТА

Мне приснилась доброта:
В темном доме у моста,
В неизвестном городке
На безыменной реке,
Засияли окна.
В эти окна я смотрел,
Ничего не разглядел.
Чувствовал я только теплоту,
Чувствовал я только доброту.
Вот и все. Уже потом
Я вошел в старинный дом,

Где стояла очередь:
За едой стояли бедняки,
За углем стояли старики.
И на непонятном языке
Обратился к этой бедноте,
По записке читая слова,
Сам мэр — городской голова.

1964

***

Декабрьский вечер мглистый,
Переходящий в ночь.
Декабрь и декабристы.
Кто сможет вам помочь?
Ах, барские затеи
Невнятны для солдат.
Замерзшие кареи
Без выстрела стоят.
Потом найдутся люди,
В столетие потом.
Сейчас — картечь орудий,
В упор картечный гром.
И побегут солдаты
Скорей, чем на войне.
Царя мерцают латы
В столичной синеве.

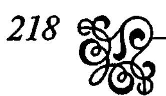
1964

СТИХИ О БРЕТАНИ

Kerhamb bréder ag mar don
Lésamb er jibl hag er goumon

1

Приморские деревни
Над камнем и водой.
И веет ветер древний,
А с виду молодой.



Очаг. Мерцает пламень.
Застывшие года.
И допотопный пламень,
И вечная вода.

2

Повстречало нас немного чаек
И о чем-то гневно голосили
Голосами обездоленных хозяек,
У которых всю посуду перебили.
Это голос независимой Бретани,
Трехстолетняя нестершаяся память.
Порт в дыму. Уходят англичане.
Над пожарищем простреленное знамя.

3

Сижу в таверне «Золотого льва»
На самом берегу у океана.
Здесь проходила королева Анна,
И внятны мне ее слова,
Исполненные нежности, печали,
Разлуки с этим краем. И в порту
Вдруг распустилась парусами лодка.
Но лодки нет. Есть дымчатая водка.
Хмель в голове. Огонь во рту.

4

Здесь песни заунывные, глухие,
Здесь вечный траур — черный цвет,
Здесь только Анны и Марии,
Других имен у женщин нет.

1964

ЭПИЗОД

Не редкость выстрелы в горах:
Разбой, охота, поединок.
Ах, чье-то имя на устах!
Дуэль. «Обычная картина.



Убит был зря. Но смерть была легка»,—
Запишет кто-то в мемуарах:
«Поручик Лермонтов Тенгинского полка,
Служивший раньше в лейб-гусарах».

1964

СОБАКА

Я — густопсовый пожилой кобель,
Хозяин мой — охотник на покое.
Вчера была ужасная метель,
Творилось что-то страшное, такое,
Когда не знаешь, где земля, где твердь,
И — мы, собаки, это знаем, —
Хозяйская стояла смерть
В открытом поле за сараем.
И я завыл, как никогда не выл.
И бил меня хозяин, стервенея,
Калмыцкой плетью из последних сил,
Понять предупреждений не умея.
Все говорят, что нет глупее нас,
Борзых. Пожалуйста, не верьте.
Никто не знает лучше нас
Незваный час хозяйской смерти.

1965

ЗАКАТ

Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней.
Тютчев.

Распустились розы на глазах,
Я слышал шорох распусканья.
Ну, что ты, милая в слезах,
Еще не кончено свиданье.

Приподнялся и упал закат
На твои несдержанные слезы,
На меня лежащего, на сад,
На нераспустившиеся розы.

1965

Ваш Ник Туроверов

Стихотворения, опубликованные в периодических изданиях и не вошедшие в сборники

ОРДА

Опять, опять в степном просторном чреве,
В родном краю курганов и ветров,
Вселенский шум родившихся кочевий,
И пламя дымное раскинутых костров.
Звенит, как встарь, над Манычем осока,
В степях Хопра свистит седой ковыль,
И поднимает густо и высоко
Горячий ветер над ордою пыль.
Кочует новая, упрямая, слепая,
Шибаясь костяком по степовой груди...
Но голод по следам Тимура и Мамая
Ей кажет точно старые пути.
И дряхлый мир, прижавшись у истока
Пустынных лет, в последний жуткий раз
Увидит в воротах грядущего Востока
Голодный блеск косых и жадных глаз.

1922

ЗОВ

Отцу моему

1

Опять весна, опять иная,
Опять чужая синь небес,
Но, ширяся и нарастая,
Влекущий лик родного края



Томит предчувствием чудес,
И не согнутся мои плечи
Под грузом жизненных доспех;
Для близкой неизбежной встречи
Таю любовь, мечты и речи,
И тихий плач, и звонкий смех.

2

Везде со мною неминучий
Призыв и дальний образ твой,
И пусть ведет безглазый Случай
Меня чужою стороной.
Пути лишений и скитаний
Не заглушат влекущий зов,
И знаю радостно заране —
Увижу я знакомый кров.
И край родной не будет тесен,
Когда, забыв тоску дорог,
Воздвигну я из новых песен
Тебе сияющий чертог;
И ты, мой светлый и единый,
Мой друг извечный, мой отец,
Услышишь песни лебединой
Начало прежде, чем конец.

КЛИЧ

Нам кажет с Родины тяжелые дороги,
Кружась над кровлей по ветру, конек.
Ложитесь отдыхать, и хромый, и убогий!
Но мне ль весенний путь окружен и далек?
Иль юность не моя, сквозь шум боев пьянящий
Была пронесена в смерче кровавых дней,
Чтоб снился мне теперь настойчивей и чаще
Вид всадников и взмыленных коней?
Иль я в чужом краю забуду ненароком,
Как пел набат в степи средь зарева огней,

Как солнце плыло кровожадным оком
Над дымом городов зловещей и темней?..
Так мне ли не мечтать средь тающего снега
Теперь, когда панель в угаре и чаду,
О вольности и радости набега,
Не кликать из степей весеннюю орду?
Я знаю: мне даны недаром эти речи
И эта кровь, стучащая в виски.
О, я несу к порогу близкой встречи
Сокровища завещанной тоски.
И вот в мечтах, благословенных ночью,
Когда в окно пьянят росистые луга,
Предвижу час, когда я приторочу
К седлу трофей, отнятый у врага.
И все равно, в покое или в буре,
К родным курганам донесу я клич,
Где пращуры мои на лошадиной шкуре
Делили золото добыч.

1923

ЗОВ

А. Туроверову

1

Тоскую, горю и сгораю
В чужой непривольной дали,
Как будто не знал и не знаю
Родной и любимой Земли.
Но нужно ль кого ненавидеть
За то, что досталося мне
Лишь в юности родину видеть,
Скача на горячем коне,
Чтоб помнить простор да туманы,
Пожары, разбои и кровь,
И, видя ненужные страны,
Хранить неземную любовь...



2

Нет, сердце я не приневолю
К утехе чуждого труда,
Когда хранить простор и волю
Велят горящие года;
Когда подвластен и покорен
Мне ослепительный огонь,
И топот близок и задорен
Степных набегов и погонь.
И мне, рожденному на грани,
Избраннику кровавых дней,
Дано вещать о старой брани,
И звать в нее, и петь о ней.
И путь мой древний и заветный —
Разбить закованную цепь.
И я несу свой жребий светлый,
Который мне вручила Степь.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

1

Уже у поднятого трапа
Отчалившего корабля
Мне сразу станет дорог Запад,
Моя привычная земля,
И на молу чужие люди
Знакомы станут и близки,
Когда мой дальний путь осудят
Прощальным светом маяки.
Но лишь на краткое мгновенье
Я затоскую на борту,
Услыша медленное пенье
Сирен в покинутом порту.
Непрекращающийся ветер
Меня уверит, что одна
Лишь есть чудесная на свете

Моя далекая страна,
И мне в полночный час, в каюте,
Под легкий склянок перезвон,
В какой тысячелетней мути
Приснится европейский сон.
Мой долгий сон, в котором прожит
Был не один забытый год;
Но что душа слепая может
Вновь пережить средь бурных вод?
И вся парижская эпоха
Во сне припомнится остро,
Как непрерывный, мерный грохот
Во тьме летящего метро.

КАЗАЧКА

Марии Волковой

Нас все пытаются с тобою разлучить,
Мне с детских лет доверчивая муза,
Тебя — бесплодному томленью научить,
Меня — поэзии картавой и кургузой.
Но нам ли, от мамаевых костров
— Сквозь сотни лет — пришедших к Перекопу,
Довериться баюканью метро,
Склонясь челом на сонную Европу?
Тебе ль, с жестоким словом на устах,
Нести другое — не казачье — знамя,
Когда лежат у вечности в ногах
И совесть оскудевшая и память?
И не тебя ли Пушкин воспевал,
Держа свой путь на вольные станицы,
Когда в горах еще шумел обвал,
Чтоб и тебе, и Дону поклониться?
С тобой одною Лермонтов вдвоем
Пел песню колыбельную...
Такую,
Что до сих пор растет богатырем



Праправнук твой, о Родине тоскуя,
Ты все, как есть, смогла перестрадать, —
Казачий шлях — что Млечная дорога:
Есть сыновья? О них поплачет мать,
И Гоголь их проводит до порога.
О, как любил тебя Толстой потом
(Ты на него тогда и не глядела), —
И он жалел, что не был казаком
Но ты никак об этом не жалела!

УКРАЙНА

из Тараса Шевченко
Памяти матери

Было время, на Украине
Пушки грохотали,
Было время, запорожцы
Жили — пировали.

Пировали, добывали
Славы, вольной воли,
Все то минуло, остались
Лишь курганы в поле.

Те высокие курганы,
Где лежит зарыто
Тело белое казачье
С головой разбитой.

И темнеют те курганы,
Словно скирды в поле,
И лишь с ветром перелетным
Шепчутся про волю.

Славу дедовскую ветер
По полю разносит.
Внук услышит, песню сложит
И поет, и косит.

Было время, на Украйне
Шло вприглядку горе;
И вина, и меду вдоволь,
По колено море!

Да, жилось когда-то славно,
А теперь вспомянешь:
Станет как-то легче сердцу,
Веселее взглянешь.

***

О, суд людской, неправый,
Что пьянствовать грешно.

1

Казался он уродом
С кудлатой бородой.
Сияла в нем природа
Звериной красотой.
Не ведал лицемерий
В казачьей простоте
И верность старой вере
Носил на высоте.
Железный сын эпохи,
Гоня чертей окрест,
Струею рома в кофе
Всегда он делал крест.

2

Я не знаю, где он живет,
И не знаю, чем он занимается,
Знаю только, что курит и пьет,
Знаю только: ему это нравится.
Ничего я не знаю о нем,
Поджидаю его каждым вечером —
Говорит, что владел он конем
И что делать ему уже нечего.



ЮБИЛЕЙ

И старцев нет. Есть молодые люди.
Уланщина, гусарщина — все есть!
И водка, и шампанское. На блюде
Еще ни кем не тронутая честь.
Конечно, были неудачи.
Полвек не в счет. Полвека нет.
И надо всем еще маячит
Казаче-конный силуэт.

ЧИСТИЛИЩЕ

Чистилище —
промежуточное место
между раем и адом.
Словарь

1

Терпеть не могу я больных,
Себя больным — ненавижу.
Смерть подходит. Я чувствую, вижу
Эту ведьму в космах седых.
Смерть подходит. Не ведаю холода.
Трубный звук. Ты ведь любишь меня?
И легко, уверенно, молодо
Сажусь опять я на коня.

2

И вот в том чудесном саду,
В котором я не был, но буду,
Сниму я седло и узду,
И конь в лошадином бреду
Возляжет среди незабудок.
Закрою глаза я коню:
Догонишь меня?
Обгоню!

ЗВЕЗДНЫЙ СВЕТ

Марку Шагалу

Небесный сыр, — моя луна
Уже изъедена мышами,
Они живут за облаками,
В корнях потусторонних верб.
И нет луны. Есть лунный серп.
Надолго ль он в ночи?
Но вот,
Мой пожилой покойный кот
В мышиный табор сиганул, —
Одних сожрал, других — вспугнул.
И нет луны. Есть звездный свет,
Мерцающий тьму тысяч лет.

***

Твой браслетик номерной
29 — 18.
Был ты парень озорной
И любил когда-то драться.
И вокруг тебя, пострел,
Ветер пел, и пули пели;
Ты случайно уцелел,
А друзья не уцелели.
Ты остался одинок,
Двадцать лет бродил в неволе,
И опять подходит срок
Погулять на Диком поле.
Ах, не Диком — без коня,
Что казак, но сердце радо:
Не любя и не кляня —
Если надо — значит надо.
Не заплачет горько мать...
Но с мечтой о бранной славе,
Право, лучше умирать
Не в постели, а в канаве.



ПЕРЕКЛИЧКА

1

Убиенные подростки-подголоски
Поют в небесной тишине.
К нам долетают отголоски
Казачьих песен в вышине.
Ремнем могучим опоясан
Казачий стан. И старики
Им отвечают низким басом:
Мы казаки! Мы казаки!

2

Одиноко сижу я в тоске,
Но чарка не дрогнет в руке:
Я за казачество пью,
За светлую долю свою,
За счастье быть казаком!

***

Пепельница. Пепел мимо.
Задрожал стакан в руке.
Чувствую, — опять незримо
Ты со мною в кабаке.
Чувствую особым чувством,
Не шестым, не номерным.
Та же пытка: для искусства
Нужен ли табачный дым
И вино?
　　　　Какая сила
Нас опять с тобой свела?
Одинокая могила
Новой травкой поросла

13/2 1971

***

Прижалась бутылка рома
Стеклянной щекою к руке.
Холодной щекою. Мы дома,
Мы снова с тобой в кабаке.
Конечно, весь мир по колено!
Отныне — навеки, давно.
Хрустальная стопка Верлена,
На дне — золотое руно.

1971

1942

Тебе не страшны голод и пожар.
Тебе всего уже пришлось отведать.
И новому ль нашествию татар
Торжествовать конечную победу?
О, сколько раз борьба была невмочь,
Когда врывались и насильники, и воры, —
Ты их вела в свою глухую ночь,
В свои широкие звериные просторы.
Ты их звала, доверчивых собак,
В свои трущобы, лютая волчица.
И было так, и снова будет так,
И никогда тебе не измениться.*

---

* В архиве И.И.Туроверовой был обнаружен расширенный вариант этого стихотворения, начинавшийся следующими строками:

Не все равно кому принадлежать!
Какому чужеземному народу
Доверить сможешь ты иль передать
Свою тысячелетнюю свободу?

И заканчивающийся так:

Не все равно, кому принадлежать
Не все равно, каким рукам отдаться!
И мне теперь не надо выбирать,
И мне теперь не надо сомневаться.
Какая безрассудная любовь
К родной земле вернуться мне поможет.
Из всех кровей единственная кровь
Какая мне роднее и дороже.



ОДНОПОЛЧАНАМ

Гимназистом, реалистом и кадетом
Начиналась беспощадная война.
Голубым необычным светом
Жизнь моя теперь озарена.
Ничего не тронет и не ранит
Закаленных неожиданной судьбой;
Мертвые мои однополчане
По ночам беседуют со мной.
Старшие — времен Елизаветы,
Надо каждого запомнить и учесть
Чинопочитание, при этом
Не роняя и казачью честь.
Младшие — совсем еще недавно
Юность не испившие до дна,
Страшно, и таинственно, и славно
Вы доверились снегам Каледина,
Той зимы семнадцатого года
Без которой, уверяют знатоки,
Лучшего всемирного похода
Не смогли б придумать казаки.

Стихотворения, опубликованные по архивному собранию И. И. Туроверовой

***

Ах, Боже мой, как это мило,
Какое счастье мне дано.
В одной руке держу чернила,
В другой — веселое вино,
И вновь я полон вдохновений
И для стихов, и для труда.
Спасибо Вам, мой юный гений,
Ваш благодарный навсегда.

ПРОКАЖЕННЫЙ

Te, te, Asia infelix
tristi deplore querela.
Sybylla (Oracul L.V.)

Мне снился вереск лиловатый,
Непроходимые терны
И солнцем выжженные скаты
Библейской каменной страны.
Я шел с горы, терны кололись,
Но в нетерпенье я дрожал —
У ног моих Иераполис
В руинах мраморных лежал.
Приют шакала и гадюки —
Священый град, где Иоанн
Вздымал торжественные руки
Над кровью первых христиан,
Где над апостольской могилой
Шумел печальный кипарис,



И где пророчества Сибиллы
Так безошибочно сбылись.
О, прародительские мифы
И баснословные бои!
Сметая все, прошли здесь скифы —
Родные пращуры мои.
Кого искать мне на погосте
Столетий, обращенных в прах,
В приюте змей, где чьи-то кости
Лежат в разрушенных гробах?
Но я все шел, все торопился —
О, как терны мешали мне —
И путь мой бесконечно длился,
Как может длиться лишь во сне.
И все, что было в жизни свято,
Готов я был легко отдать,
Чтоб только мне сойти со ската,
Чтоб только мне не опоздать.

1

Его я встретил у пещеры,
Где любопытный Апулей
Искал в дыму горячей серы
Дорогу в капище чертей.
И вот — у розовой колонны,
У входа мрачного в подвал,
Весь в струпьях старый прокаженный
Меня с улыбкой ожидал.
Его я сразу обнял смело,
Коснулся обнаженных плеч,
И страстной песней зазвенела
Его взволнованная речь.

2

«Хвала пришедшему без страха
Сюда, чтоб видеть наяву,
Как средь кладбищенского праха
Я, славя Господа, живу.

Я ждал тебя, мой друг единый,
Как ждут сияющей весны
В твоей стране, где снег да льдины,
Да несбываемые сны.
Я ждал тебя, пришелец дальний,
Я знал, что ты всегда готов
Довериться высокой тайне
Еще неизреченных слов.
Со мной живут одни лишь звери,
Давно сбежал я от людей,
И не кому не мог доверить
Заветной повести моей.

3

Я сын древнейшего народа
Воспетой в библии страны.
Богатство, знатность и свобода
Мне были с детских лет даны,
Я рос в довольстве и в покое
И все имел, что мог желать.
Я помню детство золотое,
И нежно любящую мать,
И наш дворец в полдневном свете,
Когда, играясь у крыльца,
Услышал и запомнил эти
Слова веселого отца:
Найди для всех слова привета,
Легко любовь свою дели,
И Бог тебе воздаст за это
И не отнимет от земли.

4

Я рос, земных тревог не зная,
Я все имел, что пожелал,
Что дать могла мне жизнь земная, —
Я незаметно возмужал.
И стал мне люб клинок булатный,
И борзый конь, и шумный пир,



И час любви, и подвиг ратный —
Весь тот великолепный мир,
Который ветреная младость
Несет, раздольна и легка,
Другим на страх, себе на радость,
Сквозь все народы и века.

5

Влюбленный в бой жалеть не станет
Погибших рядом с ним в бою,
Он сожаленьем не обманет
Любовь беспечную свою,
В загробные не веря силы,
Стоит он, вновь готовый в бой,
У свежевырытой могилы
С ненаклоненной головой.
Влюбленный в жизнь не пожалеет
Ни женских слез, ни женских мук,
Он полюбить равно сумеет
Часы свиданий и разлук;
Наперсник Бахуса счастливый,
Он славит каждую любовь,
Но, как поэт скупоречивый,
Не станет тратить лишних слов.

6

В богатстве, в знатности, на воле
Легко текли мои года,
И вот, над этой легкой долей
Взошла заветная звезда.
Всех выше звезд и между ними
Крупнее, ярче и ясней —
Ее сияющее имя;
Небесный свет ее очей
Мне заменил и жажду славы,
И край родной, и всех друзей,
И всех родных, и все забавы
Счастливой юности моей.



Любовь моя! Душа молилась
Одной тебе... И, наконец,
Мне вся вселенная открылась
В тот день, когда ты согласилась
Идти со мною под венец.

7

Я помню, помню день волненья —
Свой неожиданный конец,
Веселый вечер обрученья
И блеск обмененных колец.
Родных радушные приветы,
И рог, осушенный до дна,
И благосклонные приметы
Гостей, веселых от вина.
И вдруг, не знаю кто, при свете
Свечей, горевших вдалеке,
Печальным голосом отметил
Пятно у мужа на руке.
И я, и все узнали сразу
Пятно, разросшееся вкось,
И слово страшное — проказа,
Как гул подземный, пронеслось.
И я запомнил — прокаженный —
И буду помнить до конца
Животным страхом искаженный
Весь облик милого лица.
Конец всему! Одни дороги
Узнали, что я пережил,
И на родительском пороге
Меня никто не проводил.

8

Кого люблю, тех испытую!
Так обещал когда-то Бог.
И вот, мою любовь земную
Он лучше испытать не мог.



Всему конец! Страшнее смерти
Отчаянья бессильный гнев,
Но я познал сиянье тверди,
Отчаянье преодолев;
Познал, что в жизни есть иное,
Еще незнаемое мной —
Возвышенное и простое,
Как это небо голубое
Вслед за промчавшейся грозой;
Что все пройдет, как дым летучий,
Что есть всему законный срок,
И в новой доле — самой лучшей —
Теперь я нищ и одинок.

9

Здесь видели когда-то Креза
Вокруг лежащие поля,
Хранит здесь кости и железо
Все поглотившая земля.
Во имя праведной свободы
Она не терпит суеты, —
Что ей погибшие народы,
Когда опять цветут цветы,
И тот же вольный ветер веет,
Как над Элладой веял он,
И так же счастливо синеет
Анатолийский небосклон.

10

Всему есть свой черед и мера!
Ты видишь римский водоем,
Но нимфы не живут в пещерах
В любимом городе своем.
Суровой мудрости корана
Страна покорна и молчит,
Евангелие от Иоанна
Уже давно здесь не звучит.

Со мной живут одни лишь змеи
Средь этих выжженных камней, —
Меня бездомней и беднее
Ты не встречал еще людей.
Но, внемля голосу пророчеств,
Познал я тайны бытия,
И нет прекрасней одиночеств,
Чем жизнь свободная моя.

11

Тебя влечет еще отчизна,
Манит родная сторона, —
Давно оплаканная тризна
Ужель тебе еще нужна?
Что ты найдешь в стране печальной,
В твоей стране среди снегов?
Зачем ее холодной тайной
Твоя отравлена любовь?
Зачем ты ждешь ее ответа,
Когда ты должен быть ничей,
Как этот ветер иль как этот
Журчащий весело ручей.
Что надо жизни человечьей?
Что ищешь ты? Тебя здесь ждет
Мое вино, и сыр овечий,
И черный хлеб, и дикий мед.
Живи со мною на свободе
И пей из кубка моего
За жизнь, в которой все проходит
И не проходит ничего».

12

И я пригубил полный кубок,
Но сразу дрогнул небосклон, —
Вино как яд ожгло мне губы,
И я слыхал сквозь крепкий сон

Каким невыразимым криком
Я закричал ему в ответ:
«А я рожден в просторе диком,
В стране, которой лучше нет!
И я не помню свое детство
И мирный лик своей страны, —
Я только помню с малолетства
Огонь бессмысленной войны,
Войны слепой, междуусобной,
Где брат на брата шел, когда
Слились в единый плач надгробный
Испепеленные года.
Я помню страшное начало —
Как вышел я его встречать,
Да те слова, что мне сказала
Благословляющая мать:
Иди, мой сын, иди смелее!
И жизнь моя уйдет с тобой,
Но будет мне еще больнее,
Когда останешься со мной.

13

Любовь! Ты знаешь, что такое
Ее животворящий пыл?
И все живое, все земное
Любил ли ты, как я любил?
Когда душа уже не знает
Кому доверится, любя,
Когда весь звездный мир сияет
Лишь над тобой и для тебя,
Когда земля с тобою дышит,
И нет на свете никого,
Кто не поймет и не услышит
Биенья сердца твоего.
Любовь! Но выше всех любовей,
И бескорыстней, и сильней,
Влекущий зов отцовской крови
И крови матери твоей.

Познал я горечь всех скитаний,
Чужую жизнь и чуждый кров,
Все униженье подаяний
У европейских берегов.

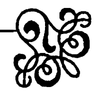
14

Я видел смерть. Быть может, снова
Ее увижу; но клянусь —
От прародительского крова
Я никогда не откажусь
И не на что не променяю
Средь самых черных, страшных дней
Свою любовь к родному краю
И верность родине моей.
За горсть земли из той долины,
Где некогда стоял мой дом,
Готов отдать я все равнины
И все леса в краю чужом.

15

Я древней мудрости внимаю,
Но верю мудрости живой, —
Я до сих пор еще не знаю
Откуда ты и кто такой?
Я внял тебе! Внимай мне тоже
О дальней родине моей
И знай, что нет страны моложе,
И человечней, и нежней;
Что ясен путь ее извечный,
Что ей нельзя с него свернуть,
Когда над ней сияет Млечный,
Единственный на свете путь;
Когда ведет к всемирной лире,
Сквозь кровь, сквозь муки и гроба,
Ее единственная в мире —
Неповторимая судьба».

22 октября 1943
Завод Рено.



СКАЗКА

Не в каком-то дальнем царстве,
А в Российском государстве,
Средь пяти земных морей
И не считанных полей,
Средь песков, как снег, зыбучих,
Средь лесов, как ночь, дремучих,
Ближе к югу, у реки,
Где гуляли казаки,
Где стоит престольный Киев,
Переживший всех Батыев,
Покаравший кровопийц,
Душегубов и убийц
Православного народа,
Где жива еще порода
Гусляров-богатырей, —
Там, среди моих степей
На безыменной реке
Дед живет в зимовнике,
И легка к нему дорога
Для того, кто верит в Бога,
И кто родину свою
Не забыл в чужом краю.

1

Из бочонка хмель медовый
Разливает дед бедовый,
Разливает и поет:
Бог кого-то принесет
К нам сегодня на веселье;
Что нам думать о похмельи,
Ну-ка, братцы — чок да чок,
Пропускай живей глоток!
А вокруг сидят вояки,
Посиневшие от драки
С басурманином врагом,
Задолжавшие кругом,

Всех пиров посудобойцы,
Развеселые пропойцы,
Запорожские усы,
Побуревшие носы.

2

Дед поет все: чок да чок!
Вдруг с петель слетел замок,
Покатился, зазвенел,
Пол в передней заскрипел,
И на самом на пороге
Появился гость с дороги,
Рослый, стройный, молодой,
Взор, как небо, голубой,
Безбородый, и румяный,
И в одежде иностранной,
Грудь поднята высоко —
Словом, кровь да молоко !

3

Дед бедовый тут как тут:
«Вашу милость как зовут?»
Гость неспешно отвечает:
«Князь Никита». И бросает
Горсть червонцев старику:
«Разнеси-ка, дед, нам влаги,
Разгони мою тоску —
С давних пор не пил я браги,
Не бывал в своей стране, —
Будьте ласковы ко мне!»
Поклонившись, князь вошел
И присел ко всем за стол.

4

Дед, как бес, засуетился:
«Наливай полнее рог!
Долго в поле гость кружился,
До костей наш князь продрог.



Все, что есть у нас в печи,
Поскорей на стол мечи!»
Величают князя хором
За веселым разговором:
«Вот-то будет пир горой,
Благодетель дорогой».

5

Для начала пили водку,
Ели студень и селедку,
А когда пришла пора —
Принялись за осетра;
Но чем лучше пили, ели,
Чем сильней носы краснели,
Тем все больше горячась,
Чушь порол приезжий князь:
«Ах, вы други!.. Ах, вы братья!..
К вам склоняюсь я в объятья...»
Дед глядит — сопят носы,
Затуманились усы.

6

«Сколько было пережито,—
Продолжает князь Никита:
Сколько разных грез и слез
Я в изгнаньи перенес!..
Где же мой народ прекрасный,
Кто разрушил терем ясный,
И, вернувшись в край родной,
Почему я всем чужой?
Ах, жестокое свиданье,
Ах, холодное вниманье!..»
Князь все больше — ах да ах, —
Точно девица в штанах,
И от слов его равно
Киснут люди и вино.

7

Дед уж этак и разэтак,
Ничего не мог скумекать,
Снова этак и разтак, —
Видит — сам попал впросак, —
Киснут лица, а носы
Опустилися в усы.
Что тут делать? Смерть да скука!
Черту впору эта мука!
Тут какой-то храбрый нос
Со слезами произнес:
«Князь, во славу всех князей,
Пожалей своих друзей,
Не тяни ты наши души —
Мы тебя устали слушать,
И, во имя Покрова,
Брось твердить свои слова!
Был ты долго на чужбине,
Научился там волынить,
И вино тебе не впрок,
Горемычный голубок!
Есть у деда где-то фляга —
Чудодейственная влага,
Что Бакланов-генерал
Перед смертью завещал
Пить тому — но только в меру —
Кто несет в себе холеру».

8

Князь и ахнуть не успел,
Как к нему наш дед подсел,
Мигом вскрыл в печатях фляжку —
Льет баклановскую бражку
В ковш без мерки, на глазок:
«Ну-ка, князь наш — чок да чок!»
Князь глотнул. Его качнуло,
Сорвало потом со стула,
Закружило на полу
И отбросило в золу.

9

Ну, решили все: готово!
Не по молодцу обнова!
Ан, глядят: не торопясь,
Из золы поднялся князь.
От лекарства похудал,
Но зато и возмужал —
Очи стали прямо бычьи,
Преисполнены величья,
Голос — медная труба,
Даже верхняя губа
Поросла уже щетиной,
Словом, князь воскрес мужчиной,
И, немедля, в тот же час
Он отдал такой приказ:
«Всем воякам без различья
Выдать водки за отличья.
Расступись печаль-тоска!
Ну-ка, братцы, — гопака!..»

10

Дед за гусли, князь за бубен!
От Днепра до самых Лубен
Сотрясается земля,
Колыхаются поля,
И запуганный народ
Светопреставленья ждет;
Даже дедов ворон мрачный,
Что ласкал сам Сагайдачный,
Взвился в небо, — кра да кра:
Погибать пришла пора!
Князь Никита не скучает.
С той поры он посещает
Очень часто зимовник
И к баклановке привык.

26/11 1943

***

Конь горяч, и норовист, и молод,
Конь еще не верит седоку, —
С этим чертом не распустишь повод
Не подремлешь, наклонившись на луку.

21 июня 1944

***

Без значенья, без причины
Просто так: Шалтай-болтай —
Туроверовой Ирине
Туроверов Николай.

1960

***

Зачем нам быть в пресветном стане
Иль в вечной адской полумгле?
Зачем нам выдано заранее,
Что мы лишь гости на земле?
Все, что оно дает — приемлю,
И все люблю, и все пою,
И не забуду эту землю
Ни в адском пекле, ни в раю.
И все испытанные муки,
И все божественные сны
Не умолят моей разлуки,
Моей любви земной весны.
Почувствую я дуновенье
За той таинственной чертой,
Куда — хотя бы на мгновенье —
Не заглянул никто живой.

17 ноября 1944



ВОЕНЩИНА

1

Я из Африки принес
Голубую лихорадку,
Я в Париж к себе привез
Деревянную лошадку.
Иностранный легион.
Первый конный полк. Конечно,
Самый лучший эскадрон,
На рысях ушедший в вечность.

2

Восемь строчек завещанья
К уцелевшим друзьям, чтоб
В неизбежный день прощанья
Положили мне на гроб
Синеглазую фуражку
Атаманского полка
И прадедовскую шашку
С лентой алой темляка.

24 февраля 1967

УЛИЦА

Был полдень не жарок,
Париж не в бреду.
Целуется пара
У всех на виду.
Есть нежность и муки,
И сдержанный пыл.
От уличной скуки
Я снова запил.

***

Всегда найдется чем помочь,
И словом, и делами,
И пусть опять приходит ночь
С бессонными глазами.
Она другим еще темней,
Настолько мир им тесен,
Что будто нет живых людей,
И нет чудесных песен.
Ведь только у слепых в ночи
Нет близкого рассвета.
И, ради Бога, не молчи:
Он не простит нам это!

ДВА ВОСМИСТИШИЯ

Jour où j'abdiguerai, sur le funèbre abîm.
L'espace et cette chair où j'etais prison.
Vinsent Murelli

Не считаю постаревшие года,
Только дни неделями считаю,
В никуда опять я улетаю,
Снова возвращаюсь в никуда.
И среди моих последних странствий
По необитаемым местам,
Все еще живу в пространстве,
Но, пожалуй, ближе к небесам.

Я не знал, что одинаково
Бьется сердце у тебя и у меня,
Я не знал, что лестница Иакова
Так похожа на крылатого коня.
В этом легком и счастливом расставании
И с землей, и с жизнью, и с тобой —
До свиданья, только до свидания
В неизбежной встрече мировой.

***

О сроках ведает один Всевышний Бог!
Но нечего таиться и бояться,
— На перекрестке всех дорог
Нам надо устоять и удержаться.
Не даром — кровь, и муки, и гроба,
Скупые слезы казаков — не даром!
Как ветер зерна, так и нас судьба
Над всем земным пораскидала шаром.
И надо не страшиться помирать,
И знать, за что еще придется биться.
У нас ведь есть глагол: «казаковать»,
Что значит: никогда не измениться.
И тайной музыкой казачьих рек,
И песнями ветров над ними,
Мы крещены из века в век,
Из рода в род мы рождены родными.
Пройдет орда. И вырастет трава,
Дубок расправится, грозою смятый.
Над нами вечные покровы Покрова:
Любить все человечество как брата.
Придет пора. И будет край родной
От вод Хопра и до калмыцких станов,
Где плакал над последней целиной
Мой друг Бадьма Наранович Уланов.

КАНИКУЛЫ

1

Глухой перелесок. Летают грачи.
Такое безлюдье — кричи, не кричи —
Никто не поможет, никто не спасет,
Когда лиходей на тебя нападет.
Но нет лиходея. Желтеет трава.
От ожидания болит голова.
Такая стоит непробудная тишь,
Что завтра же утром — в Париж.

2

Я от реки сидел невдалеке
И пил вино, как надо, по заслугам,
А ты в реке плыла на тюфяке,
Надутым добродетельным супругом.

И хорошо, что над тобой закат,
Что мне уже безумие не снится.
Подумать только: двадцать лет назад
Была ты непорочная девица.

3

В какой-то хате под Парижем, без простынь
Лежу в халате, при свече, не зная,
Что мне приснится ветерка полынь
Давным-давно покинутого края.

Я все любил и все любить готов,
Расцеловать неподходящий возраст,
Мой дальний край, и Францию, и кров
Хатенки этой, потонувшей в звездах.

4

Голубое, белое, зеленое
Небо, облако, луг.
Ни в каких боях не опаленное,
Наше знамя, разлученный друг,

Будет нам везде служить порукою
В том, что мы с рождения одни,
Что ни ссорой, ни разводом, ни разлукою
Невозможно нас разъединить.

***

Не стихи, а что стоит за ними,
Только то еще волнует нас —
О любви, непонятой другими,
Краткий целомудренный рассказ.

***

Не съест глаза нам едкий дым,
Ведь мы с тобою не такие,
Чтоб дым нас ел. Вообразим
Себя на юге. Но в России.

Среди левады. У костра
Над приазовскою водою
Пора, мой милый друг, пора
Тебе воображать со мною.

Что это не французский лес,
И что поет по-русски птица.
Христос Воскрес: Христос воскрес,
Чтоб никогда не ошибиться.

ПРАЗДНИК

Ему объявили сквозь слезы,
Что в этом печальном году
Не будет Деда Мороза
И елок в дворцовом саду.

Все будет и бедно, и просто,
Что все ожидания зря:
Но не заплакал подросток,
Последний наследник царя.

ПРИМЕТЫ

Ты верна своим приметам,
И котятам, и луне,
Ты верна себе, при этом
Ни на грош не веришь мне.
Что ни день, то испытанье:
Перешел дорогу кот,
И луна, как в наказанье
Кривобокая встает.

***

Века веков — все обратится в прах:
Не будет тьмы, но и не будет света.
Но вот любовь еще цветет в сердцах
И вдруг дождется полного расцвета.

***

Мы их знавали по войне:
Всегда в папахе, на коне,
Они делили с нами,
Того не зная сами,
Всю славу незакатных лет.
Теперь их с нами больше нет.
Их нет давно, и мы не те.
В сорокалетней пустоте
Осталась только память
О верности меж нами.

ТАВЕРНА

Жизнь прошла. И слава Богу!
Уходя теперь во тьму,
В одинокую дорогу
Ничего я не возьму.
Но, конечно, было б лучше,
Если б ты опять со мной
Оказалась бы попутчик
В новой жизни неземной.
Отлетят земные скверны,
Первородные грехи,
И в подоблачной таверне
Я прочту тебе стихи.

***

Сегодня в первый раз запел
Какой-то птенчик на рассвете,
И я опять помолодел —
Конец зимы! За годы эти



Я полюбил тепло весны,
Как нестареющие сны,
Как мимолетное свиданье,
Как поэтический рассказ,
Как это пылкое лобзанье,
Как этот блеск счастливых глаз.

***

Скоро успокоюсь под землею
Навсегда я от земных трудов.
Над моей могильной, черной мглою
Стаи пролетят других годов...

Будет биться жизнь еще под солнцем,
Будут плакать так же, как и я,
Будут мыслить все над Чудотворцем,
Спрашивая тайны бытия...

ОДНОЛЕТОК

Подумать только: это мы
Последние, кто знали
И переметные сумы,
И блеск холодной стали
Клинков, и лучших из друзей
Погони и похода,
В боях израненных коней
Нам памятного года
В Крыму, когда на рубеже
Кончалась конница уже.
Подумать только: это мы
В погибельной метели,
Среди тмутараканской тьмы
Случайно уцелели
И в мировом своем плену
До гроба все считаем
Нас породившую страну
Неповторимым раем.

Подумать...
Казачьим заветом
Делюсь я с тобой на ходу.
— Ты будешь мой однолеток
В две тысячи третьем году.

СОВЕСТЬ

Эти кресла, в которых никто
не дремал,
Неприступные эти диваны,
На которых никто, никогда
не поспал,
Ни влюбленный, ни трезвый,
ни пьяный.
Эти книги, которых никто
не читал,
Эти свечи еще не горели, —
Этот зал без гостей,
удивительный зал,
Где ни разу не пили, не пели.
И фарфор, и хрусталь: но никто
уж не пьет
Из него за подругу, за друга,
И коснувшись, нечаянно, вдруг
разобьет,
От смертельной тоски, от испуга.
Эта жизнь для вещей, эта жизнь
без людей.
Без пылинки на звонком паркете.
Это совесть твоя:
молчаливый лакей,
Бритый черт в полосатом жилете.

***

Короче, как можно короче,
Яснее, как можно ясней —
Двенадцать сияющих строчек
Любви неповторной моей.

***

Что тебе, мой тайный и чудесный,
Самому мне неподвластный дар —
Этот страшный, беспощадный, тесный,
Жизнь испепеляющий пожар;
Бесприютный, беспокойный, устремленный,
Задохнувшийся в телесной тесноте,
Умирающий, но все еще влюбленный
Голос мой, взывающий к тебе.

АНАФЕМА

Для всех грехов есть милость и забвенье —
Господь клеймит злопамятных людей —
И распятый с Христом разбойник и злодей
Поверил первый в жертву искупленья;
Но есть среди людских богопротивных дел
Одно, которому не может быть прощенья,
Оно одно не знает снисхожденья —
Предательство — мазепинский удел!
И страшная анафема гремит,
Как гром небесный, церкви сотрясая,
Предателя навеки проклиная,
И вторят им из-под могильных плит
Все мертвецы, и вторит все живое,
— И нет предателю покоя,
Покуда Божий мир незыблемо стоит.

***

Хорошо, что смерть сметает
Наши легкие следы,
И вовремя отлетают
Пожелтевшие сады.
Хорошо, что вьюга воет

Над замерзшею землей,
И из всех часов покоя
Лучший именно зимой;
Хорошо, когда без страха
Отжив свой недолгий век,
В прах — родившийся из праха —
Обратится человек.
Но беда, когда во злобе
И в гордыне пред Творцом,
Он подумает о гробе
С исказившимся лицом.
У кладбищенской ограды
Остановится, крича,
Иль попросит вдруг пощады
В смертный час у палача.
Или, ведая заранее
Все проклятья над собой,
Он покинет поле брани
Потаенною тропой.
Нет тогда ему покоя,
Безмятежного конца.
Смерть уж знает, что такое
Можно взять у мертвеца.

ПРОГУЛКА

Всегда нам весело вдвоем,
И, припася на завтрак булку,
Опять с тобой мы удерем
На запрещенную прогулку.
В дороге к нам пристанет пес,
Оставивший собачью драку,
Ты так доверчиво курнос,
Что сразу покоришь собаку.
Как хорошо весной идти
И верить в жизнь, легко и просто.
Благословенны все пути,
Когда по ним идет подросток.

***

Не страшна мне твоя укоризна
За влюбленность простую мою,
Что ты знала и знаешь, Отчизна,
Про людей в приазовском краю?
Так ли ты их любила, и любишь,
И всегда, как детей, бережешь,
Иль опять равнодушно погубишь
И потом никогда не найдешь!

***

Заря краснее кумача,
В рассветной мгле стоят опушки,
О многолетии кричат
Неугомонные кукушки.
И вторит им веселый хор —
Разноголосый гомон птичий.
Ах, мне весна с недавних пор
Нужна, как поцелуй девичий.
И вот, мы с ней идем вдвоем,
Куда — еще не знаем сами,
Я с подорожным костылем,
Она — с апрельскими цветами.
Плывут над нами облака,
В полях гуляет шалый ветер,
— Светла дорога и легка,
И жить легко на этом свете.
А ночью мир по-Божьи прост,
Деревня ждет дождей и хлеба.
В моем окне так много звезд,
Как будто я попал на небо.

ЛЕГИОН

Любимый, но все-таки странный,
Приснившийся Франции сон, —
И свой, и не свой — Иностранный,
Единственный Легион.

Какая-то высшая мера.
Кончая стихи, я начну:
За двадцать легионеров
Можно разрушить страну.

Дорогая Ирина, посы-
лаю Вам своего "Прокажен-
ного", которого закончил
в один присест. Вы мой
самый юный и самый це-
нимый изо моих критик.
Как Ваша верховая езда?
Получили сапоги с плеча
Ивана Даниловича?

Целую руки маме,
Вам и сестре.

Ваш Туроверов

24/10 43

КОНЕЦ СУВОРОВА



I

Швейцарские горы оставались позади, спускаться было тяжело. За ночь ветер сдул снег в лощины, на скалах остался слой льда. И люди, и лошади скатывались вниз по скользкому откосу, иные срывались в стремнины, слабые ложились и не поднимались, те, кто хотел отдохнуть, садились на ледяные уступы и засыпали вечным сном; в лицо дул холодный ветер с дождем и снегом, одежда обледенела.

Со дна пропасти предстоял новый подъем на обледенелый утес, напротив которого ревел водопад, низвергая пласты снега. Армия давно потеряла порядок, полки перемешались — каждый шел там, где ему казалось удобным.

Суворов в круглой с широкими полями капуцинской шляпе и в синем обветшалом плаще, который вся армия называла родительским, ехал на небольшой серой казачьей лошади. Два дюжих, высоких казака поддерживали его с обеих сторон, лошадь вел под уздцы старик-доброволец Антонио Гамма, Суворов порывался вырваться из казачьих рук: «Пустите меня, пустите, я сам пойду!» Казаки молчали, только изредка кратко и сердито отвечали: «Сиди!»

Подъемы и спуски становились отлогими, снег и лед сменила невылазная грязь, ветер прекратился, закурилась мгла и густой туман. В глубокой лощине оказался лес, все бросились разводить костры, но сырая мгла гасила огни, горький дым расстилался по земле. У редких костров толпились люди, сухари давно были съедены, кой у кого были еще остатки воловьей кожи — намотанная на шомпола,

она чадила в огне, ее ели полусырой, другие раскапывали корешки растений.

На следующее утро, в тумане, войска собрались в деревне Паникс, а немного погодя дошли до городка Иланца. Здесь, наконец, добыли дров, обогрелись и 27 сентября потянулись к городу Куру. Все без различия, генералы, офицеры, солдаты и казаки были оборваны, босы, голодны, изнурены, но впереди был близкий отдых.

Суворов крупной рысью обскакивал полки и весело кричал солдатам:

— Здравствуйте, чудо-богатыри, витязи земли русской, здравствуйте!

— Здравия желаем, отец-батюшка, Александр Васильевич! — вырывалось у всех. Громкое «ура» летело за Суворовым, грянули песни.

Швейцарский поход был окончен.

Из 20.000 русских войск, выступивших из Италии, через 17 дней дошли до города Кура меньше 15.000, приведя с собой 1.400 пленных французов. Больше 1.600 было убито, упало в пропасти и замерзло, 3.500 раненых было оставлено на милость врага в Гларисе и Муттенгале, потеряны все пушки и обоз. В Швейцарии снова владычествовали французы, парижские газеты сообщили, что Souvarov, «непобедимый варвар, погубил половину своей армии и ретировался со стыдом и яростью в сердце».

В Куре Суворов узнал о разгроме Массеной Римского-Корсакова под Цюрихом. Корсаков потерял 26 орудий, 9 знамен, огромное число убитых, раненых и пленных — в одном Цюрихе осталось больше 5.000 человек и среди них три генерала.

Суворов ужаснулся. Еще когда остатки его армии бедствовали на ледяных склонах Ринген Копфа, он обдумал план нового вторжения в Швейцарию: реванш, реванш — прямо на Франш-Контэ, десант в Вандее, восстание в Нидерландах — гидра должна быть раздавлена в своем логове — в Париже.

Но с кем теперь идти? Суворов склонился над разостланной на столе картой. С цесарцами-австрийцами? Изжили нас из Италии, сгубили в Швейцарии; безвольный цесарь Франциск, всемогущий Тугут, во главе венского гоф-кригс-рата[1]; его предрассудкам без ответа Богу нельзя следовать: вяжет из всех четырех углов, хочет управлять за тысячу верст! Потерял Нидерланды, Швейцарию, Рейн и

[1] государственный королевский военный совет *(прим. ред.)*

преклонил колени пред Бонапартом. И все Тугут, и везде Тугут, сова в темном гнезде, подъяческие: мерере, бетрехтлих, и другие двуличьки. Пришли в Биллинцоп: лошаков нет, лошадей нет, а есть Тугут, и горы, и пропасти; но я не живописец — пошел и прошел. Видели и французов, но всех пустили под такую мать холодным ружьем, по колено в снегу. Массена проворен, да не успел...

Суворов сел на стул, задумался, закрыл глаза: так с Бонапартом и не столкнулся. А его ребята — не цесарцам чета, даром что молодо-зелено! Моро, Макдональд, Виктор, Удино, Мортье, Сен-Сир, Груши, Лекурб (ему розу подарил) — со всеми познакомился, кое-кого в полон захватил. А Жубер? Молодой человек приехал поучиться: под Нови, на коне, в рядах пехоты: en avant! Пулей наповал — солдат в пятнадцать лет, генерал в двадцать четыре года. Жаль, жаль!

Так и не привел Господь встретиться с Бонапартом.

Суворов открыл глаза, встал со стула и подошел к окну. Через улицу, на большом дворе, фельдфебель Багратионова полка раздавал егерям винные порции. Егеря стояли очередью, в затылок, передний егерь с перевязанной головой выпил водку и, не передавая чарки очередному, протянул ее снова к фельдфебелю, что-то говоря и показывая ему на свою голову. Фельдфебель засмеялся и налил снова. Засмеялся и Суворов, ему захотелось выпить водки, но он сейчас же отскочил от окна и заметался по комнате: а под Цюрихом худо и Лаватера ранили... Цесарцы под Мангеймом, Тугут везде, Гоц нигде... Геройство побеждает храбрость, терпение— скорость, рассудок— ум, труд— лень.

Из-за двери высунулся Прошка:

— Чего изволите?

— Реляция, реляция! Беги за господином Фуксом.

Через полчаса заспанный статский советник Фукс (он спал четырнадцать часов подряд, все еще не веря сквозь сон теплу и покою) не поспевал писать за диктующим Суворовым о Швейцарском походе.

«...Генерал Дерфельден мужеством своим оживотворял воинов, непоколебим был среди опасностей, неутомим и благоразумен в распоряжениях.

Розенбергу предоставлена была слава отмстить Массене за победу его в Швейцарии: Розенберг заманил его в долину, выждал, ударил в штыки, поразил и рассеял. Сей подвиг совершился под Мутенталем.

Генерал Ребиндер отличился при Урзене и Алдорфе, при Мутентале отнял пушки у неприятеля, разя его штыками.

Швейковский неустрашимо предводил вверенною ему частью войск.

Милорадович, начальствуя передовыми войсками генерала Розенберга, с неизменной быстротой разил и гнал врага. Необычайная горная война возбуждала в нем новую отважность. При случае спустился на спине с утесистой горы.

Генерал Мансуров отличился быстротой на высотах Урзена, разил врагов штыками и овладел Тейфельсбриком, сиречь Чертовым мостом.

Князь Багратион, начавший подвиги на полях Италийских, озарился новою славою и на высотах Альпийских.

Вожди донцов, Денисов и Курнаков, находясь по крыльям полков и впереди, разили врагов, множество брали в плен и везде быстрым появлением наносили ужас...»

Суворов в числе отличившихся упомянул и о своем сыне: отцу сладостно видеть полет сыновий! Упомянул и о статском советнике Фуксе, препоручив его высочайшему вниманию. Фукс порозовел: еще до назначения Суворова он был при армии для ограждения ее от тлетворных влияний якобинцев, но влияний не обнаружилось, и остался Фукс при Суворове по письменной части.

Реляция была закончена. Суворов приказал Фуксу намекнуть Гавриле Романовичу Державину через письмо к Резанову о том, что переход Альп достоин восторгов нашего барда: ужели он не вострубит? Русские оправдали изречение Ломоносова:

Где только ветры могут дуть,
Там пролетят полки орлины.

Альпы за нами, Господь перед нами! Русские орлы облетали орлов римских! Где проходит олень, там пройдет русский солдат! Как бы это в стихах?.. А скажи, господин статский советник, как по-латыни пословица: поэты родятся, а ораторы делаются?

Фукс ответил: «Poetae nascuntur, oratores fiunt».

Суворов засмеялся: «Жаль, что нет на латинском языке и этой: одни генералы родятся генералами, а другие делаются. Первых видел я на передовых постах со штыками и саблями, а последних — на паркете перед кабинетом полотерами и несменными стражами. А мундиры у тех и у других одинаковы. Однако, покойной ночи, господин Фукс».

II

Только через месяц, в двадцатых числах октября, было получено в Петербурге известие об исходе Швейцарской кампании. Император Павел вздохнул облегченно. Его беспокойство за армию, за Суворова, за сына — великого князя Константина, находящегося при армии, было жестоко и мучительно. Австрийский император просил помощи — он дал своих солдат, просили полководца — он дал Суворова. Но честность и бескорыстность Европе смешны: «политика есть гнилое яйцо», прав Суворов, погибающий теперь в Альпийских громадах. Русский мавр сделал свое дело в Италии — мавр может уйти в швейцарскую ловушку. Кругом обман, лицемерие, эгоизм, трусость и жадность, народ народу — волк, какое там рыцарство Мальтийского креста? Император тревожился и негодовал: было приказано не служить больше молебнов о цесарских победах, курьерам к Суворову не заезжать больше в Вену, объявить Кобенцелю, что русский государь не обязан делать, что угодно Тугуту.

«Вы должны были спасать царей, теперь спасите русских воинов и честь вашего государя. Главное — возвращение ваше в Россию и сохранение ее границ»,— писал император Суворову в альпийские снега, в неизвестность... И вот только в конце октября пришла, как бы с того света, суворовская реляция — Швейцарский поход был окончен, император вздохнул облегченно: честь России была спасена! Награды каждому — там все герои, награждать Суворова, казалось, было уже нечем — император пожаловал его генералиссимусом[2], сказав при этом Ростопчину, что другому это было бы много, а Суворову мало: он достоин быть ангелом! «Побеждая повсюду и во всю жизнь вашу врагов отечества, — писал к нему император,— не доставало вам еще одного рода славы: преодолеть самую природу, но вы и над нею одержали ныне верх... Награждая вас и ставя на высшую степень, уверен, что возвожу на оную знаменитейшего полководца сего и других веков». Академии наук было приказано проектировать статую нового генералиссимуса. Козловский, автор Геркулеса на коне и Кариатид Павловского дворца, представил проект: Суво-

---

[2] Суворов был третьим русским генералиссимусом. После него (до Сталина) генералиссимусов не было. До Суворова, «сей чин коронованным главам только надлежащий, а наипаче тому, чье есть войско» (устав Петра Великого) был пожалован Меньшикову, благодаря помолвке его дочери с Петром 2-м, и супругу правительницы Анны Леопольдовны принцу Антону-Ульриху Брауншвейгскому, получившему этот титул вместо Миниха.

ров, в виде рыцаря, закованного в латы, прикрывает российским щитом жертвенник с римской и сицилийской коронами и папской тиарой. Проект, изображавший грациозного бога войны, но не Суворова, вызвал восхищение и был одобрен, приказано было приступить к работам. Военной коллегии поведено было вести с Суворовым переписку не указами, а сообщениями.

Над Петербургом гулял ледяной ветер. Державину, прогуливавшемуся вдоль темной и тяжелой Невы, нажгло холодом уши, колючий снежок слезил глаза. Старик зажмурился, вдохновился: на Альпах тот же ветер и снег, но только трагичнее, трагичнее — там пропасти, водопады, Сен-Готар... «Хохочет ад», потом какой-нибудь там «пар» и... «нахмурясь, смотрит Сен-Готар»... Державин распахнул навстречу ветру шубу и заторопился домой — успеть бы записать:

...Ведет под снегом, вихрем, градом,
Под ужасом природы всей!..
Но россу что и где преграда?
С тобою Бог! — И гор громада
Раздвиглась силою твоей...

Уже входя в дом, Державин забормотал:

Отныне горы в век Альпийски
Пребудут россов обелиски!

От Швейцарского похода Петербург возликовал, а Европа походу удивилась. Газеты были переполнены былями и небылицами о Суворове и его армии. Было сообщено, что генуэзский антиреволюционный комитет будто бы предлагал Суворову семь миллионов франков за изгнание французов с Ривьеры, на что, якобы, Суворов и ответил письмом. Приводилось и его письмо, полное восхитительного вздора: «Возвышеннейший, могущественнейший, превосходительнейший господин, граф Суворов, слуга Божий и угодника Его Николая Чудотворца, кавалер орденов Тигра, Скорпиона, Барса и Св. Александра Невского, главнокомандующий австро-русскими войсками в четырех частях света, поборник царей, разрушитель республик, архимандрит и епископ греческой церкви, архикатолик и прочая, и прочая, и прочая...»

Во Франции Суворова считали чудовищем с наружностью обезьяны и душою кровожадного пса и пугали детей переиначенным име-

нем этого монстра Souwarou, вместо loup garou[3]. Бонапарт, бросив свою армию в Египте, поспешил во Францию: дела в Италии шли из рук вон плохо, этот старый скиф «с душою великого полководца» наделал хлопот.

«Qu'avez vous fait de cette France que je vous ai laissé si florissante? Je vous ai laissé la paix, j'ai retrouvé la guerre. Je vous ai lassé des victoires, j'ai retrouvé des revers. Je vous ai laissé les millions de l'Italie et j'ai retrouvé partout la misère»[4], — неистовствовал Бонапарт в Париже.

Правители Франции только чесали затылки... Австрия теряла последние надежды удержать при себе русские войска: расстаться с Суворовым она была, пожалуй, не прочь, Суворову был пожалован большой крест Марии Терезии (хотя в гоф-кригс-рате и спорили — не слишком ли велика награда)... «В Вене ваше последнее чудесное дело удостаивают названием belle retraite[5]; если бы они умели так ретироваться, то давно завоевали всю вселенную»,— писал Суворову язвительный Ростопчин.

Все это было хорошо и утешительно, но не очень. Суворов отлично понимал неполный успех Итальянской кампании и вынужденность Швейцарской: кампании были славные и блестящие, они поражали воображение, а Швейцарская трагедия была достойна Шекспира, но у Суворова в прошлом все было славно и блестяще. Не за этим он приехал сюда, почти похоронив себя в Кончанской опале, на исходе своих семидесяти лет: изгнание французов, искоренение крамолы, восстановление престолов, торжество религии — всего этого на деле не оказалось. Оставалась русская слава, но она никогда не покидала Суворова, он к ней привык: слава, слава, слава — мы русские, какой восторг! Однако, вот бил французов, да не добил, вместо Парижа — охрана цесарских границ, двоевластие с эрц-герцогом Карлом, требующим планов новых операций, присылающим свои планы, замучившим перепиской, просьбами о свидании. Какое там свидание («юный эрцгерцог Карл хочет оволшебить меня своим демосфенством»), когда вся русская армия нескрываемо ненавидит цесарцев, а великий князь Константин не подает их генералам руки.

[3] оборотень *(франц., прим. ред.)*

[4] Что вы сделали с Францией, которую я оставил вам процветающей? Я оставил вам мир, а нашел войну. Я оставил вам победы, а нашел отступления. Я оставил вам миллионы Италии и обнаружил повсюду нищету. *(фран., прим. ред.)*

[5] милое отступление *(франц., прим. ред.)*

Какие там планы новых операций, когда собранный 7 октября в Линдау русский военный совет единогласно решил: «Кроме предательства, ни на какую помощь от цесарцев нет надежды, ради чего наступательную операцию не производить». Домой, домой! Но Суворову все еще казалось: вот-вот что-то изменится, есть же правда на свете: подчинят ему герцога, присоединят его войска, развяжут руки — иди, куда знаешь и как хочешь. У Суворова был свой план — краткий, ясный, простой: в ноябре быть в Лионе, Новый Год встретить в Париже. Но время шло, ничего кроме переписки с герцогом не было: переписка принимала личный характер — обе стороны впадали в крайности. Предполагаемый Суворовым отход русской армии на винтерквартиры в Баварию герцог назвал отступлением. Суворов рассвирепел: «Во всю жизнь свою не знал я отступлений и обороны, а ваше оборонительное положение в Тироле стоило вам свыше десяти тысяч солдат!» Это было последним письмом Суворова к эрцгерцогу Карлу. За три дня до этого, 18 октября, Егор Борисович Фукс, красный от недоумения, перевел на французский язык прощальное письмо Суворова к герцогу: «Завтра двинусь я на зимние квартиры между Иллером и Лехом. Наследственные владения должны быть защищаемы завоеваниями бескорыстными, для этого нужно привлечь любовь народов справедливостью, а не покидать Нидерландов, не жертвовать двумя прекрасными армиями и Италией. Вам говорит это старый солдат, который почти 60 лет несет уже лямку, который водил к победам войска Иосифа Второго и Франца Второго, который не любит болтовни демосфеновой, ни академиков, путающих здравый смысл, ни сената Аннибалова. Я не знаю зависти, контрмаршей, демонстраций, вместо этих ребячеств глазомер, быстрота, натиск — вот мои руководители...» Письмо было длинное и странное, трудное для перевода. Суворов тщательно проверил его, особенно слова: глазомер, быстрота, натиск — coup d'oeil, célérité, impulsion, и мелко, четко, черно (он всегда писал тушью) подписал: Monseigneur, de Votre Altesse Royale le très humble et très obéissant serviteur prince Italiski comte Alexandre Souworow-Rimniksky[6]. Свернул в конверт, взял свою обычную печать, на которой скрещенные шпага и стрела были окружены знаменами, пушками, литаврами и орденами, но раздумал, и взял другую, заветную, изображающую гору с

[6] Вашего Королевского Высочества покорный слуга князь Италийский граф Александр Суворов Рымникский. *(франц., прим. ред.)*

отскакивающими от нее стрелами и надписью: «рази, рази — мать твою в п...ду»[7]. Подышал на печать и крепко приложил ее к сургучу. Фукс только ахнул.

В конце октября Суворов перевел свою главную квартиру в Аугсбург, правее стал корпус Дерфельдена, левее — Розенберга, в первой линии, по Иллеру, расположились казаки. Русская армия стала на винтерквартиры. Было время. Над Баварией кружился снег. Союзные войска расстались, чтобы никогда не встретиться. Последняя суворовская кампания и его боевое поприще были кончены.

III

Союз России с Австрией распадался. Оставаться суворовской армии на зимних квартирах в Баварии, ожидая весны, уже не имело смысла, и Суворов перевел в начале декабря свои войска в Богемию и сам переехал в Прагу. Имя Суворова, выросшее в Европе и, особенно, в Германии за Итальянскую кампанию, после Швейцарской, засияло особым блеском. Он стал центром общего внимания: всюду на его остановках, в Линдау, Аугсбурге и, особенно, в Праге не было прохода от жаждущих хотя бы взглянуть на русского фельдмаршала, общее почтение к нему граничило с благоговением — дамы добивались чести поцеловать его руку.

Отблеск суворовской заграничной славы отразился в России двойным светом, и император Павел в то время был подлинным представителем национального настроения, когда писал Суворову: «Не мне тебя, герой, награждать, — ты выше мер моих». Посылая новогодние пожелания, император просил Суворова поделиться ими с войсками, если он, император, «того стоит», так как его единое желание — «быть достойным такого воинства».

Император Франц, как бы в свое оправдание, заверил Суворова в своей признательности, оставив ему пожизненно звание австрийского фельдмаршала с жалованьем в 12.000 гульденов, курфюрст Баварский прислал Суворову орден св. Губерта, а курфюрст Саксонский своего художника Шмидта, поручив ему написать портрет генералиссимуса, что и было исполнено в обстановке весьма необычной. Шмидт был принят Суворовым в Праге, в отведенном ему отеле барона Вимера. К приготовившему уже свой мольберт художнику,

---

[7] Эта печать находилась потом у генерала Ермолова.

выбежал маленький, сухенький, слегка сгорбленный старичок с голубыми прозрачными глазами, гладко выбритым морщинистым лицом и непричесанными редкими седыми волосами. Старичок был в исподнем белье, и полупьяный Прошка с двумя большими шейными золотыми медалями на зеленых лентах, пожалованными ему сицилийским королем за сохранение здоровья Суворова, торжественно принес стул. Старичок подбежал к Шмидту и очень точно, отделяя каждое слово, заговорил: «Ihr Pinsel wird Zuege meines Gesichts darstellen, diese sind sichtbar, allein meine innere Menschheit ist verboten. Ich muss Ihnen sagen, dass ich Blut in Stroemen vergossen habe — ich erbebe, allein ich liebe meinen Naechsten. In ineinem Leben habe ich keinen ungluecklich gemacht, nie ein Todesurtheil unterzeichnet, ein Insect ist von meiner Hand gefallen — ich war klein, ich war gross»[8].

Суворов вскочил на стул, постоял на нем и спрыгнул: «Bei der Fluth und Ebbe des Glucks, auf Gott bauend, war ich unerschuetterlich, so auch jetzt»[9].

Суворов сел на стул: «Вдохновляйтесь вашим гением и начинайте», — сказал он Шмидту.

Но вдохновляться художнику особенно не пришлось: через четверть часа Суворов убежал. Только спустя несколько дней, на обеде у Милорадовича, Шмидту явилась возможность украдкой за столом зарисовать черты лица генералиссимуса, — это было нелегко: генералиссимус был в прекрасном настроении, ел свою любимую щуку с голубым пером, балагурил и гримасничал; австрийский белый фельдмаршальский мундир и ордена Шмидт дорисовывал на портрете Суворова потом, пользуясь услугами Прошки. Суворов остался доволен портретом[10], но запротестовал: «Я сорок лет уже не видел себя в зеркале, но неужели я так постарел и подурнел!»

В Праге Суворов получил письмо от Нельсона: «Любезный князь и брат! В Европе нет человека, который любил бы вас как я...» Английский кумир, адмирал Нельсон прилагал к письму свой гравиро-

---

[8] Ваша кисть изобразит черты лица моего — оне видимы; но внутреннее человечество мое скрыто. Я должен вам сказать, что я лил кровь ручьями. Трепещу, но люблю своего ближнего, в жизни своей никого не сделал я несчастным, не подписал ни одного смертного приговора, не раздавил своей рукой ни одного насекомого, — я был мал, я был велик. *(нем.)*

[9] В приливе и отливе счастья, уповая на Бога, бывал я неколебим так, как теперь. *(нем.)*

[10] Этот портрет пастелью весьма долгое время считался погибшим; только в 1898 г. он был разыскан известным знатоком русской художественной старины Верещагиным и приобретен императором Николаем Вторым.

ванный портрет, настаивая на своем сходстве с генералиссимусом: Суворов нашел, что и впрямь — они похожи. «Любезный барон и брат! Я, действительно, нашел сходство между нами... Победы, славы и благоденствия на новый год!» — ответил Нельсону Суворов.

Давно не было так весело в Праге, как в те дни, когда там жил Суворов. Русское офицерство веселилось во всю: вечера и балы следовали один за другим, да и сама Прага, лежащая в уютной котловине, с узкими средневековыми улицами, с Карловым мостом, туманными, мягкими днями полюбилась русским. Особенно шумела русскими голосами пивная Флека — здесь пил пиво когда-то сам Лютер, подумать только! Никогда еще не казался таким веселым, подвижным и чудаковатым Суворов, никогда так много не ел и не пил он, как в эти пражские дни, едва поспевая с одного приема на другой, не успевая отдыхать от своих приемов в Вимеровском дворце. На святках у Суворова шел дым коромыслом: вся местная знать, среди которой были и граф Бельгард, и лорд Минто (оба приехавшие из Вены — последняя попытка удержать русские войска), должна была водить хороводы, играть в фанты, в жмурки, в жгуты, петь хором русские песни и гадать. В кутерьме и неразберихе первенствовал Суворов, хохоча от души над неспособностью иностранцев веселиться по-русски: в фантах Суворову досталось быть исповедником. Все уходили от его исповеди с веселыми лицами, только у графа Бельгарда вид был невеселый — накрыв его шалью, Суворов не шутя, очень грустно ему прошептал:

«Si on veut faire encore la guerre à la France, qu'on la fasse bien, mais si on la fera mal, ce sera un poison mortel»[11].

Никогда еще так не веселился Суворов, как на встрече нового, девятнадцатого века. Казалось, никаких душевных страданий, никаких недомоганий не могло быть у этого жизнерадостного семидесятилетнего старика. Но это только казалось. Сам Суворов чувствовал, что с ним происходит что-то не то. Это «не то» первым заметил неразлучный с Суворовым, с самого Измаила, его вестовой казак Селезнев. Сопровождая в начале января Суворова на смотр проходившего через Прагу гренадерского Тучковского полка, Селезнев увидел, как жидко сидел Суворов в казачьем седле, теряя поводья и хватаясь за луку, как испуганно глядели на Суворова давно его не видевшие гренадеры, а, главное, потому что Суворов ничего не ска-

[11] Хотят продолжать войну с Францией, которая была успешна, но если вести ее полхо, это будет смертельно. *(фран., прим. ред.)*

зал им, а только заплакал — понял простым казачьим чутьем Селезнев, что Суворову на коня больше не садиться, и заплакал сам.

Вернувшись домой, он сказал Прохору: «А наш старик тово... кажись — отвоевался».

Заметил и Прошка неслыханную вещь — Суворов стал бояться холода, хотя всячески и скрывал это. Спал он по-старому на сене, укрываясь простыней и плащом, но, окачиваясь при пробуждении ледяной водой, уже не кричал как раньше от удовольствия, не хлопал себя по бедрам руками, не прыгал по комнате, а съеживался и синел, зубы его стучали, на глазах стояли слезы. Прошка стал подавать воду слегка подогретой. Суворова начал мучить кашель, он стал ненавидеть ветер. Однажды ночью он разбудил Прохора и Селезнева: в громадной приемной откуда-то дуло, и они втроем стали бегать по приемной, ловя ветер.

IV

В половине января, отдохнувшая в Богемии суворовская армия двумя колоннами весело двинулась в Россию. Суворов ехал с левой колонной в кибитке. В Кракове Суворову стало худо, жестокий кашель разбивал ему грудь. Местные врачи советовали больному пройти курс лечения на водах. «Помилуй Бог! Посылайте на воды здоровых, богачей, игроков, интриганов, а я болен не шутя, — рассердился Суворов. — Мне надобны деревенская изба, молитва, баня, кашица да квас».

Генералиссимус («Ох, велик этот чин, он меня придавит, — не долго мне жить») затосковал, заскучал по России. Домой, домой: в Петербург, а потом в родное Кончанское! В Кракове Суворов простился с армией, — до нас не дошел его прощальный приказ, сдал команду Розенбергу и поскакал в кибитке дальше, но скакать ему оказалось уже не под силу: Суворов с трудом дотащился до своего Кобринского поместья, пожалованного ему императрицей Екатериной в Гродненской губернии, и там слег. Императору донес, что останавливается в Кобрине на четыре дня, а остался в польских снегах полтора месяца.

Кобринский господский дом не велик, Суворовской свите тесно, скучно. Трещат дрова в печах, за окнами трещат морозы, порхает снег. Не скучает только Фукс. Державин прославил Екатерину и прославился сам. Теперь черед Фукса: прославить Суворова. Фукс серьезно считал себя писателем: «Счастливым я себя почту, если мне

удастся представить Отечеству сего Гения во всем блеске и величии». Он состоял при «гении», видел его в боях и походах, вел дневник войны, составлял реляции, которые правил Суворов, требуя сжатости, ясности: никакой воды! Однако, Суворовский стиль Фуксу не дался, и представить Суворова отечеству ему так и не удалось, но в эти кобринские дни Фукс не щадил чернил и бумаги.

Вспоминая Швейцарский поход, сочинитель распалился: в горах солдаты возроптали, солдаты отказались идти дальше; Суворов приказал вырыть могилу, собрал вокруг нее свое войско и воскликнул: «Здесь похороните меня: вы более не дети мне — я более не отец вам— мне ничего не остается кроме смерти!» Солдаты устыдились и двинулись вперед.

Багратион, которому Фукс докучал своими ремарками, только фыркнул: «Не было сего и быть не могло!»

Фукс обиделся, отложил на время горные ужасы и взялся за Ломбардию: его записная книжка налицо, в малом залог великого! Фукс очинил гусиное перо и крупно вывел:

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ СУВОРОВА

Однажды, в Итальянскую кампанию 1799 года, кончив ввечеру все дела свои по службе, вздумал я составить дневную записку и описать в оной все происшествия графа Александра Васильевича Суворова-Рымникского (он тогда еще не был князем). Хотя день сей был и не достопамятнейший, но я не виноват: я избрал его, потому что имел несколько досугу, а сие случалось редко. Итак, вот опыт журнала одного дня.

День начался как и всегда начинался: в четыре часа пополуночи вбегает ко мне камердинер его, известный Прошка, и, запыхавшись, кричит: «Пожалуйте к графу!»

Через десять минут пришел я к нему. Он уже встал с соломенного своего ложа, помолился Богу, окатился холодной водою и прокричал несколько слов по-турецки. Он был одет в белой австрийской куртке, но старые сапоги свои и чулки опускал необыкновенно. Он спросил меня, будет ли лорд Бентинк у него обедать? Я ему отвечал, что пригласил его. После сего, перекрестясь, сели мы за столик и принялись за работу. Я читал ему разные донесения, письма, приказы, реляции и прочее. Он вслушивался со вниманием, взвешивал каждое слово на русском, французском, немецком и итальянском

языках, советовал иное поправить, а иное выпустить, иное прибавить. Шутки и странности исчезли. Опытность, начитанность, предусмотрительность, глубокомыслие и память его удивляли меня всегда. Не прежде вставал он, как по подписании всех бумаг и выслушании всех докладов. Всегда был он весел, когда подносил я ему много представлений к наградам, и тогда обнимет и перекрестит меня, повторяя свою аксиому: «Добро делать спешить должно!»

Сегодня кончили мы дела в семь часов утра, и он кликнул Прошку. С сим именем оканчивалась его важность. Он начинал бегать, скакать, кричать, вертеться, помышлять об обеде и порываться выбежать к гостям, от чего я его удерживал, уверяя, что еще не все собрались. Наконец, в восемь часов, он выбежал и стал каждого обнимать и целовать. Пока он еще водки не выпьет, представлялись ему обыкновенно новые лица. Я подвел к нему 18-летнего комиссариатского офицера, отправляющегося за покупкою 5000 пар сапог для армии. Он его обнял и вскричал: «Спасай Европу!» Юноша вспыхнул и убежал.

Итальянец-стихотворец в шелковом кафтане со всеми комплиментами поднес ему поэму «Освобожденная Италия». Он обнял, прижал к груди поэта, поизмял его букли и воскликнул по-итальянски, с переводом каждого периода на русский язык: «Как! Вы питомец Аполлона, поете меня, мальчика в отечестве Тасса! Стою ли я того? Слышали ли вы, что и Север имеет Державина? Его недавно сравнили с Анакреоном, но я за него вступился. Для певца любви и вина довольно тихозвучной лиры, для славопевца — труба! Она со славой неразлучна, надобно, чтобы звуки ее раздавались в дальнейшем потомстве, для которого мы живем. Она воскресит нас!»

Потом велел он, как обыкновенно, читать вслух «Отче наш». По окончании молитвы повторил: «Кто аминь не сказал, тому нет водки!»

Выпив полстаканчика оной, просил он всех садиться за стол по чинам. По левую сторону подле него садился обыкновенно майор Румянцев, распоряжавшийся блюдами. Первые места заняли генералы: от инфантерии А. Г. Розенберг и австрийский от кавалерии «папа» Мелас, «Haute Excellence», — так называл он его. Мне приказано было сидеть вместе с сыном Парнаса и толковать ему, что «поэт» и «поет» у нас одно и то же. Я радовался, что мой сосед, называя графа Александра Васильевича великим феноменом природы, пресыщался лучами гения, ибо стол наш был очень скуден и невкусен, а особливо в постные дни. Едва уселись мы, как граф изъявил свою радость,

что у него обедают два Высокопревосходительства. Он заставил Меласа выговаривать по-русски свой титул: Высокопревосходительство. Неповоротливый язык дрожащего осьмидесятилетнего старца не мог преодолеть камня претыкания в нашем Ы, он утомлялся и потел. Это подало графу повод говорить о богатстве нашего алфавита, о богатстве русского слова, что славянский язык, происходящий от славы, есть наш Перу, но что, к сожалению, бросили мы отрывать сокровища. Все сие говорил он на немецком языке весьма ясно и плавно. Подали говядину, довольно худо изготовленную:

«Попотчуйте побольше лорда Бентинка. Вы,— обратясь к нему,— как знаток, можете судить о доброте сего ростбифа. Люблю землю, где родятся Дюки Портланды и лорды Бентинки».

В продолжение разговора с Бентинком, поднимал он беспрестанно опускавшиеся свои чулки, как будто чтобы показать, что у него нет подвязки[12]. Не знаю, понял ли тот. Погодя немного, начал он смыкать глаза, смеяться, кривляться и обводить перстами лицо. «Это, — сказал он, — лекарство от обморока».

Потом обратился ко всем и говорит: «Военному человеку надобно знать языки тех народов, с которыми ведет войну. В Турции я выучился по-турецки, в Польше по-польски, в Финляндии по-чухонски». Тут декламировал он чухонскую песню и хвалил гармонию сего языка. Он говорил с Милорадовичем о военных добродетелях и приказал ему со мною сделать разбор слов: vaillance, valeur, courage и bravoure[13]. Мы обещали.

Долго смотрел граф Александр Васильевич пристально на соседа моего, итальянца, держа по-ихнему обыкновению палец под глазом. Вдруг спрашивает его: «О чем вы думаете?»

Поэт, восхищенный сим вопросом, со всеми карикатурными кривляньями ответствует: «Воображение мое переселило меня в шатер Агамемнона, где сижу в совете греческих полководцев и как будто уже вижу падение Трои и торжество Эллады».

Ответ графа ему был по-русски, а Милорадовичу и мне ведено было перевесть оный на итальянский язык. Оба мы, признаюсь, очень плохо тогда знали сей язык, но чтобы не попасть в «немогузнайки», переводили с потом и отважностью. Вот что граф приказал ему пересказать: «Я давно знаю Гомера. Но короче познакомил меня с ним на природном нашем языке приятель мой Ермил Иванович Костров.

---

[12] Известно, что он желал иметь английский орден Подвязки.

[13] доблесть, достоинство, мужество, отвага. *(фран., прим. ред.)*

Люблю Гомера, но не люблю десятилетней Троянской осады. Какая медленность! сколько бед для Греции! И Оссиан, мой спутник, меня воспламеняет: я вижу и слышу Фингала в тумане, на высокой скале сидящего и говорящего: «Оскар одолевай силу в оружии, щади слабую руку! Честь и слава певцам! Они мужают нас!»

Потом, обратясь к «папе» Меласу, граф спросил его:«Давно ли была Троянская война?» Сей, страшась «нихтбещтимтзагерства» — «немогузнайства», ответствует: «Тысячу лет до Рождества Христова». «Ах, помилуй Бог! Как давно начинается не эпоха, а эра военного нашего искусства! Как оно веками усовершенствовалось! Как оно в наши века исказилось! Запиши это, — обратясь ко мне. — Любят посредственность, не терпят таланта, потому что сей не охотник до узды». Я сие исполнил: карандаш и записная книжка всегда были при мне.

Милорадович рассказал анекдот, как два наши солдата были поставлены в Германии на квартиру к одной старушке, которая угащала их как мать. Тронутые ее ласкою, солдаты изъявили ей знаками свою благодарность, но, заметя, что она их не понимает, вскричали: «Куда старушка бестолкова? Кажется, говоришь ей и по-польски, а она все нихт ферштеен». «Знаешь ли, брат,— сказал один, — наденем мундиры, отдадим нашей кормилице честь к ноге!» Тотчас оделись, вытянулись и прокомандовали: «К ноге!» Старушка расхохоталась.

Начался разговор о последнем бале. Граф сожалел очень, что не было здесь какой-то Марьи Михайловны, первой плясуньи в его Боровицком уезде, которая всех здешних дам помрачила бы. Потом начал он шутить, что часто делал, на счет моей храбрости и неустрашимости: «Нет, помилуй Бог, он храбр, как его шпага!» Тогда я снял свою маленькую статскую шпагу, положил ее на стол и сказал: «Вот она!» Неожиданность сия произвела продолжительный хохот.

Адъютант Меласа майор Экарт ударил себя по лбу, чтобы согнать муху.

— Ах, помилуй Бог! — вскрикнул, испугавшись, граф. — Не убили ль вы мухи?

— Нет, — ответствовал Экарт, — я ее согнал.

— Спасибо вам, не должно убивать бедных малюток: они ищут пищи. Есть и миролюбивые фельдмаршалы, но те опять никуда не годятся.

Утомясь за столом, за которым просидели мы почти три часа, начал граф дремать. Прошка толкал его в бок, говоря ему на ухо: «Пора, сударь, спать!»

Он кивал головой. Просидев несколько минут в задумчивости, раскрывает глаза и говорит: «После громов оружия музы меня усыпили». Перекрестился, вскочил, побежал в другую горницу и стремглав бросился в солому.

Просидев три часа за обедом, все пустились искать обеда.

В шесть часов пополудни, пришел я с Милорадовичем к графу. Он уже с час проснулся. Мы нашли у него большое собрание. Он бегал из угла в угол, шутил, многих называл фармазонами, которые водятся с духами, чернокнижниками, чародеями. Проскакав несколько раз по горнице, остановился пред австрийским генералом Крейцом. Сей, не зная как начать разговор, придумал сказать, что был некогда в переписке с князем Потемкиным сим великим человеком.

«Как вы его назвали? — подхватил граф. — Великим человеком или человеком великим: «an grand homme on un homme grand?» Он был тот и другой; велик умом, велик и ростом!»

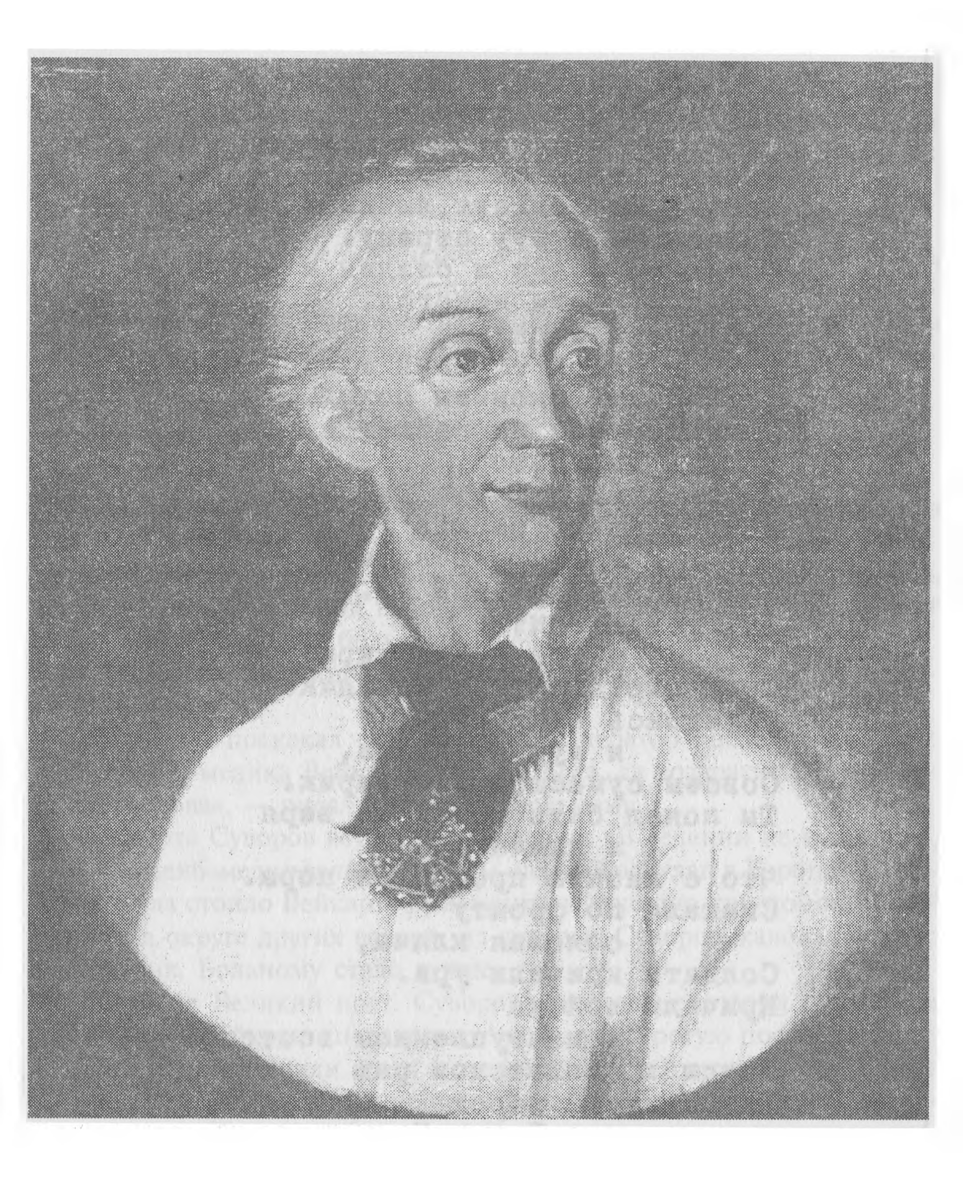
Крейц удивился умению графа электризовать каждое войско.

«Безделица! — воскликнул граф. — Помни, что ты человек, что подчиненные твои такие же человеки и твои братии. Люби солдата и он будет любить тебя. Вот вся тайна!»

Видя, что не будет конца разговорам, и, желая сбыть приготовленные доклады, подошел я к нему с напоминанием, что пора заняться работою. Тут он на меня раскричался, назвал меня грубияном, жаловался, что разлучаю его с приятелями и склоняю к ненавистной ретираде (сие слово он произносил всегда зажмурясь и с насмешливым протяжением).

«Но накажите его, — говорил он всему собранию, — останьтесь здесь и дождитесь моего скорого из блокады возвращения».

Едва лишь за порог, как настала тишина. Только перед чтением пенял он мне, что не увел его раньше. Я читал бумаги, он слушал внимательно и подписывал. В заключение я прочел ему реляцию о Новиском сражении. Ему чрезмерно понравились следующие слова: «Таким образом продолжалось шестнадцать часов сражение упорнейшее, кровопролитнейшее и в летописях мира, по выгодному положению неприятеля, единственное. Мрак ночи покрыл бегство врагов. Слава победы, дарованная Всевышним оружию Твоему, великий Государь, озарится навеки лучезарным немерцающим светом». Выхватив у меня реляцию, выбежал в другую горницу и заставлял многих читать сие место, повторяя беспрестанно: «Как кудряво написано!»



Александр Васильевич Суворов (1730-1800).
Неизвестный художник. 1799 г.

Всё ветер,да ветер.
Все ветры на свете
Трепали твою седину.
Все те-же солдаты,любимые дети,
Пришедшие в эту страну.
Остались сзади и бездны и кручи
Дожди и снега непогод.
Последний твой:
самый тяжелый и лучший,
Альпийский окончен поход.
Награды тебе не найдет
император,
Да ты и не жаждешь наград;
Для дряхлаго сердца
триумфы возврата
Уже сокрушительный яд.
Ах,Русь,Византия,
и Рим и Пальмира!
Стал мир для тебя невелик.
Глумились австрийцы:
и шут и задира,
Совсем сумасшедший старик.
Ты понял быть может не веря
и плача,
Что с жизнью прощаться пора.
Скакала по фронту
соловая кляча,
Солдаты кричали ура.
Кричали войска
в исступленном восторге
Увидя в солдатском раю
Распахнутый ворот
шее Георгий,-
Воздушную немощь твою.

Николай Туроверов.

Авторская машинопись стихотворения Н.Н. Туроверова, посвященного А. В. Суворову.

После возвратился и уселся. Кончив все официальные бумаги, читал я ему всегда газеты и журналы, которые тогда наполнены были его именем: старика это тешило. В десять часов вечера все кончилось. Он меня поцеловал и благословил.

Фукс написал свое сочинение в один присест и очень им очень доволен. Но читать его Багратиону не решился — Багратион не жаловал писательских длиннот: из Итальянской кампании он привез три раны да копии суворовских писем, собственноручно им переписанных.

V

Болезнь, которую Суворов называл фликтеною, развивалась с каждым днем: сыпь, появившаяся сначала на верхней части тела, перебросилась на ноги, особенно на сгибы, ноги распухли, кашель не давал покоя, желудок не принимал твердой пищи. Суворовский фельдшер Наум лечил больного баней да вареным медом.

«Чистейшее мое многих смертных тело в гное лежит», — жаловался Суворов.

Багратион поскакал в Петербург. Император послал в Кобрино своего лейб-медика Вейкарта. «Молю Бога, да возвратит Он мне героя Суворова», — писал император больному.

Вейкарта Суворов встретил враждебно: «В лечении не нуждаюсь, ибо есть лейб-медикфельдшер Наум, первый эскулап в Европе». Большого труда стоило Вейкарту приступить к лечению при помощи найденных в округе других врачей, из которых Суворов жаловал одного Кернисона. Больному стало лучше.

Подошел Великий пост. Суворов отговелся, заставил отговеть и лютеранина Вейкарта, посадив его на самую строгую постную пищу. Из Петербурга пришли вести о готовящемся торжественном приеме генералиссимуса: ему отводились комнаты в Зимнем Дворце, в Гатчино должен был его встретить флигель-адъютант с письмом от императора, придворные кареты приказано выслать до самой Нарвы, войска должны были стоять шпалерами по улицам Петербурга, встречая триумфатора барабанным боем и криками «ура» при пушечной пальбе и колокольном звоне, а вечером предполагалась во всей столице иллюминация. Суворову стало еще лучше — скорее в столицу! Вейкарту едва удалось оттянуть поездку на вторую половину марта.

Суворов был полон судорожной любви к жизни. Он вспомнил вдруг, что ему до сих пор не доставлены три пушки, пожалованные еще императрицей Екатериной, — они необходимы для праздничной пальбы в Кончанском, где он выстроит теперь каменный дом и прикупит у соседки, адмиральши Ельмановой, деревню на берегу Меты: там хорошее купанье. Суворов забеспокоился вдруг, что король неаполитанский забыл дать ему орден св. Януария, что большой крест Иоанна без бриллиантов, что англичане так и не дали ему ордена Подвязки. Желание как можно скорее устроить свои земные дела не давало покою Суворову: он бомбардировал своими поручениями Хвостова, укоряя его в сонливости и в летании за облаками. Но одновременно Суворов составил большую военно-политическую записку о последней кампании: «tout homme, qui a étudié le génie des révolutions, sera criminel de le taire»[14], и написал разбор десяти заповедей: «Будь христианин... Бог Сам дает и знает, когда дать».

Уехавшему из Кобрина Фуксу послал вслед письмо: кратко и ясно изложил будущему историку-очевидцу все то, с чем Фукс не мог справиться. Письмо начиналось так: «Тихими шагами возвращаюсь я опять с другого света, куда увлекла меня неумолимая фликтена с величайшими мучениями. Вот моя тактика: отважность, храбрость, проницательность, прозорливость, порядок, мера; правило, глазомер, быстрота, натиск; человечество, мир, забвение. Все войны между собою различны... В Польше нужна была масса, в Италии нужно было, чтобы гром гремел повсюду...»

Письмо было датировано восьмым марта, это было одно из последних суворовских писем.

На дворе стояла весна, цвела верба, орали грачи, мартовский ветер гулял над Польшей, когда в дормезе, на перинах, на подушках, закутанный с головы до ног, Суворов двинулся в путь. Свиты у него почти не было: все разбежались от скуки кобринского захолустья.

VI

Петербургский генерал-губернатор граф фон дер Пален вел тонкую и страшную игру. Непродолжительное царствование Павла становилось невыносимым: смены безграничного великодушия и сле-

[14] Преступно замалчивать любго человека, изучающего военное искусство революции. *(фран., прим ред.)*

пой ярости становились у него все чаще и непонятнее, чем выше он возвышал, тем страшнее немиловал. Никто не был уверен в завтрашнем дне, и благосклонность императора была страшна как улыбка безумца. Дни Павла должны были быть сочтены, и учетом их занялся граф Пален. Суворов с его чудачествами всегда был неудобен при дворе, теперь же он мог быть опасен: его солдатская верность престолу могла смешать все карты тонкой игры. Пален уже докладывал императору, что Суворов в последней кампании неоднократно нарушал установленные его величеством регламенты: солдаты не носили штиблет, унтера изрубили на дрова свои четырехаршинные алебарды, офицеры побросали эспонтоны, а, главное, применялся временами рассыпной строй, что дерзко нарушает устав. Пален намекал императору, что старик зазнался, став кузеном сицилийского короля, а потому и не торопится в Петербург, где ему готовят триумф — по заслугам ли? Не прикажет ли еще император, чтобы при встрече на улицах с Суворовым все выходили из экипажей для его приветствия, как это делается для особы Его Величества?

«Как же, сударь, — ответил Палену император, — я первый, как встречу князя, выйду из кареты».

Но Пален вел тонкую и верную игру. Девятнадцатого марта он скорбно доложил императору, что Суворов просит разрешения носить иногда в Петербурге австрийский мундир — после разрыва с Австрией это было нагло, но кроме наглости было и преступное своеволие генералиссимуса: он восстановил уничтоженную императором должность дежурного генерала — таковым при Суворове в Праге состоял Милорадович, известный кутила и ветрогон. Император побагровел...

Марта двадцатого дня при пароле был отдан высочайший приказ о дерзком нарушении генералиссимусом устава, а так же послан ему рескрипт, требующий объяснений. Грозный рескрипт застал Суворова в бедной литовской избе под Вильно. Генералиссимус лежал на скамейке, покрытый простыней, почти без памяти. Дорога изнурила его, он тихо стонал и бредил Италией. Смерть стояла у его изголовья— какие там рескрипты и опалы!

В Риге, на Пасху, Суворов почувствовал себя лучше. Он через силу надел на себя мундир, отстоял заутреню и хотел разговляться у губернатора, но это последнее усилие стоило ему дорого: Суворова на руках принесли домой. Раздев и уложив его в постель, Прошка принес фельдмаршальский мундир со всеми орденами на кухню и повесил его на стул, а стул придвинул к столу, на котором лежали

крашеные яйца, колбаса, стояла пасха и штоф водки: Прошка разговлялся с казаком Селезневым. Теперь между ними сидел как бы сам генералиссимус. Его денщик и вестовой налили себе по стакану водки и сказали, обращаясь к мундиру: «Христос Воскресе, батюшка Александр Васильевич!» По бородатому лицу Селезнева катились слезы, а пьяница, грубиян и непотребник Прошка заплакал в голос.

Двадцатого апреля, в десять часов вечера, в полумраке начинающихся белых ночей, дормез Суворова как бы тайком проехал по Петербургу и остановился у дома Фоминой, что на Крюковом канале, где жили Хвостовы. Все триумфы были отменены, приготовленные для Суворова комнаты Зимнего дворца уже были отданы принцу Мекленбургскому. Одновременно с Суворовым к Хвостовым приехал от императора князь Долгорукий. К больному его не допустили и он оставил записку, в которой значилось, что генералиссимусу не приказано являться к государю.

VII

В Петербурге больной Суворов остановился у Хвостовых. Дмитрий Иванович Хвостов, которому Суворов выпросил у сицилийского короля Карла-Эммануила графское достоинство, был женат на родной племяннице генералиссимуса, княжне Татьяне Ивановне Горчаковой. Хвостовы были известны всему Петербургу: граф — своим стихоплетством, графиня — своим французским языком. Граф Хвостов вечно был занят сочинением стихов, которые он писал на все случаи жизни, потом печатанием (конечно, на свой счет) этих стихов, затем их распродажей (стихи скупались самим же графом через подставных лиц), и, наконец, чтением своих стихов всем и каждому— для прельщения слушателей граф располагал отличным столом и часто своим кошельком.

Суворов в один из предсмертных своих дней серьезно уговаривал графа бросить его ужасную стихоманию. Граф поцеловал руку генералиссимуса и в слезах вышел в приемную, где все обступили его с расспросами о состоянии больного.

«Увы! — отвечал Хвостов, — хотя еще и говорит, но без сознания, бредит!»

Уговоры Суворова оказались вотще, после его смерти Хвостов написал:

...Полвека славой кто блистал,
Кто образец мужей великих —
Суворов средь побед толиких,
Как друг, мой мирный глас внимал.

Графиня Хвостова вечно была занята сватовством и устройством свадебных пиров в своем доме, на которых она в пудре, кружевах, блондах, атласе и бархате всегда была посаженной матерью или, как она выражалась на своем французском языке, «mère asseé» (вместо «mère d'honneur»), когда какой-нибудь Gregoire se marie sur Annette remerciant (т. е. благодаря) mes soirées de dimanche[15].

Когда ее брат, князь Андрей Горчаков, получил в одном сражении рану в левую икру и был награжден лентой (как тогда говорили «кавалерией») Александра Невского, то графиня поведала всему Петербургу:

«Mon frère a reçu la cavalerie à travers l'épaule pour avoir été blessé au caviar gauche»[16].

Но оба, и граф, и графиня, были добры, богаты, благодушны, щедры и гостеприимны. Над Хвостовыми подсмеивались, но их любили, любил их и остановившийся у них больной Суворов.

Хвостов с давних пор был старательным исполнителем всевозможных суворовских поручений — он был уже сенатором (его муза не вредила ему в служебной карьере).

У Хвостовых Суворов слег окончательно. Приехавшего на второй день Багратиона он узнал с трудом: «А! это ты, князь Петр, здравствуй!..» — и впал в беспамятство.

Но временами Суворову становилось лучше: он требовал, чтобы его сажали в кожаное кресло и подкатывали к окну. За окном кончался апрель, небо было высокое, легкое, голубое, оно отражалось в канале, и канал хорошел с бирюзовой водой. Суворов бодрился. Ах, как ему хотелось жить! Он приказывал открыть окна: в комнату влетал влажный весенний ветер, и граф, ставший совсем маленьким, щупленьким, блаженно утопал в кресле.

Однажды, когда ему было лучше, приехал Ростопчин с орденами св. Лазаря и Богородицы Кармелитской от Людовика Восемнадцатого. Суворов сделал вид, что не понимает, откуда присланы ордена:

---

[15] ...Георг женится на Анне благодаря моим воскрестным вечерам. *(фран., прим. ред.)*

[16] Мой брат награжден лентой через плечо, потому что был ранен в левую икру. *(фран., прим. ред.)*

«Из Митавы? — спросил он и добавил: — Король Франции должен быть в Париже, а не в Митаве».

Врачи переглянулись — каков старик! Знаменитый доктор Гриф, часто навещавший больного, якобы по поручению императора (что Суворова всегда радовало), потер руки: «Дайте мне полчаса времени, и я с генералиссимусом выиграю любое сражение!»

Но минуты улучшения становились все реже, обмороки все продолжительнее. Врачи разводили руками и спорили о характере суворовской болезни, уже после его смерти решили, что болезнь называется marasmus senilis[17].

Суворов терял последние силы, ему стала изменять память. Он уже не мог вспомнить лица своей жены, помнил только ее темный платочек да бедное платье, когда они (он в простой солдатской форме) пришли с ней в церковь на покаяние: мирились и сходились в последний раз, чтобы потом разойтись уже навсегда. Семейная жизнь не удалась, да ее, собственно, и не было: меня родил отец — я должен родить сына! Сын-то хорош, красавец, генерал-адъютант в пятнадцать лет, при дворе свой человек, но тут-то ему и погибель: двор добру не научит, Аркадий и теперь первый охотник до карт. Дочка же Наташенька, Суворочка, Смоляночка — давно уже графиня Наталия Александровна Зубова. Выросли дети, постарел отец, да и времени-то не было для детей, для семьи — сроду не амурничал!

Суворов почему-то вспомнил веселую темноглазую графиню Разумовскую, жену венского посла, вспомнил, как при отъезде из Вены подарил ей золотое сердечко на венецианской цепочке, запирающееся на ключик. Ключик он спрятал в карман, а сердечко надел на графиню, коснувшись пальцами ее шеи, плеч, груди, и тотчас отскочил от графини, подул, точно от ожога, на свои пальцы. Суворову захотелось и теперь подуть на пальцы — он поднял руку: она была худа, желта до отвращения. Он отвернулся и закрыл глаза: не было личной жизни — и слава Богу!

Все отдал России, славе российской, солдатам! Они теперь мерещились Суворову непрестанно: веселыми зубоскалами на походах и бивуаках, застывшими в строю с устремленными на него глазами, страшными, неподвижными мертвецами в крови и отрепьях — на полях сражений. «Ребятушки, детушки мои родные», — прошептал Суворов.

---

[17] Старческий маразм. *(лат., прим. ред.)*

Память покидала его: он уже не помнил последних кампаний, названия боев меркли одно за другим, память уходила в прошлое все дальше и дальше: Варшава, Финляндия, Измаил, Рымник, Очаков, Кинбурн, Крым, кубанские степи, уральские степи, Пугачев, Козлуджи, Туртукай, Брест, Ланскрона. Наконец — Гольнау: первая рана, туроверовские казаки — первая музыка баталий с великим Фредериком...

Суворов терял память, но это уже не пугало его. На старых ранах открылись язвы, начиналась гангрена, но никаких болей уже не было, была только блаженная усталость... Вечером пятого мая позвали священника. После причастия Суворов прошептал: «Долго я гонялся за славой — все мечта, покой души у престола Всемогущего».

Вокруг умирающего толпились родные, но он уже никого не узнавал. Ночью душил бред: Суворов торопился отдать армии последние приказания — как можно более кратко, сжато! Но отдавать приказания было некому: генералиссимус забыл имена своих генералов. К утру, наконец, вспомнил одно имя — Кутузов, сейчас же вспомнил — Измаил, но глухо выкрикнул: «Генуя!»

Утром на улице положили солому, в доме Хвостовых стояла тишина. После полудня полный покой овладел Суворовым... Он, десятилетним мальчиком, лежал на чердаке отцовского деревенского дома, листая громадный фолиант Тюрена, в чердачное окошко вливался сноп солнечного света, и в нем плавали пылинки. Внезапно свет померк, его заслонил черный великан. Это был генерал Ганнибал, друг отца, арап Петра Великого. Он смеялся: «Вот ты каков! Идем к отцу, твой воинский карьер мне очевиден!»

Он поднял его на руки и начал спускаться с ним по лестнице, на лестнице была тьма, духота, Суворов крепко прижался к арапу и сразу задохнулся...

Князь Италийский, граф Российской и Римских империй, генералиссимус Российских сухопутных и морских войск, фельдмаршал Австрийских и Сардинских войск, Сардинского королевства гранд, принц королевского дома (cousin du Roi) и орденов: российских Св. апостола Андрея Первозванного, Св. Георгия 1-ой степени, Св. Владимира 1-ой степени, Св. Александра Невского, Св. Анны 1-ой степени, Св. Иоанна Иерусалимского большого креста, австрийского Марии Терезии 1-го класса, прусских Черного орла, Красного орла и «За достоинство», сардинских Благовещения и Св. Маврикия и Лазаря, французских Кармелитской Богородицы и Св. Лазаря, ба-

варских Св. Губерта и Золотого льва, польских Белого орла и Св. Станислава кавалер, Александр Васильевич Суворов тихо скончался во втором часу дня шестого мая 1800 года, в день Святого Иова Многострадального.

VIII

«...Все, или по крайней мере многие, не только к больному Суворову, но даже к телу его, опасаясь царской немилости, появляться не смели. Вот что видел я своими глазами: приехав однажды, вошел я в комнату, где лежал он в гробе. Всех нас было трое и четвертый — часовой с ружьем на плече. Князь Шаховской, лишившийся руки в одном из сражений, бывших под предводительством Суворова, смотря на него, сказал сквозь слезы: «За тобою следуя, лишился я руки моей. Встань! Я с радостью дам себе отрубить другую».

Мы с ним прослезились и, отдав последний поклон праху великого мужа, идем мимо часового, который при отдании нам чести, казалось, насильно удерживался от плача. Взглянув на печальное лицо его, мы спросили:

— Тебе так же, как и нам, жаль его?

Он вместо ответа залился слезами.

— Верно ты служил с ним? — повторили мы вопрос.

— Нет, — ответил он рыдая, — не привел Бог!

Погребение Суворова, несмотря на желание Павлово похоронить его просто, было, по великому стечению народа, превеликолепно. Все улицы, по которым его везли, усеяны были людьми. Все балконы и даже крыши домов были наполнены печальными и плачущими зрителями. Сам государь, не для почести, но из любопытства, выехал верхом, и сам потом при мне рассказывал, что лошадь его была окружена народом, и две женщины, не приметя кто на ней сидит, смотрели, облокотясь на его стремена. При провозе гроба сквозь ворота лавры, когда некоторым показалось, что он, по тесноте их, не пройдет, вспомнилось слово солдата, сказавшего: «Небось! пройдет; везде проходил!»

...Так вспоминает очевидец, адмирал Шишков.

Суворов был похоронен 12-го мая в нижней Благовещенской церкви Александро-Невской лавры, возле левого клироса. Надгробного слова сказано не было. Вместо него певчие пропели концерт Борт-

нянского — 90 псалом: «Живый в помощи Всевышнего, в крови Бога небесного водворится...» На могилу была положена плита с краткой надписью:

ЗДЕСЬ ЛЕЖИТ СУВОРОВ

Граф фон дер Пален вел страшную, но верную игру.

Спустя десять месяцев после смерти Суворова, в первом часу ночи с 11 на 12 марта 1801 года, граф Пален доложил великому князю наследнику Александру Павловичу о скоропостижной смерти государя. Изуродованное тело императора Павла было предано земле 23марта.

«...Конец жизни Павла, равно как и Петра Третьего, не был никем, или весьма немногими оплакиваем. Погребение его отнюдь не походило на погребение князя Суворова: там видел я множество печальных и плачущих лиц, а здесь, идучи за гробом Павла, от Михайловского дворца, через Тучков мост, до крепости, из многих тысяч жителей во всю дорогу не видал я никого, кто бы проливал слезы. Казалось, все смотрели как бы на некое, скорее увеселительное, нежели плачевное зрелище: до такой степени все чувствовали тягость его правления!» Так вспомнил тот же очевидец, адмирал Шишков.

В годовщину смерти Суворова, 5 мая 1801 года на Царицынском лугу в Петербурге, в присутствии юного императора Александра и многочисленной публики, был открыт суворовский памятник, заказанный Козловскому еще императором Павлом. В десять часов утра упало полотно, скрывающее памятник. На ярком солнце засиял закованный с ног до головы в броню рыцарь, вооруженный мечем и щитом, вознесенный на круглый гранитный пьедестал. Загрохотали барабаны, гвардия начала проходить перед памятником, салютуя ему, император Александр отдал честь и улыбнулся стоявшему рядом Аркадию Суворову. Находящийся среди публики Державин, глядя из-под ладони на памятник, сердито забормотал:

— Не то, совсем не то!

Его сосед, Лев Николаевич Энгельгарт, не понял и громко зашептал на ухо Державину:

— Граф Суворов был знаменит в баталиях, но в жизни невыносим — упаси Бог! По взятии нами Варшавы, в девяносто четвертом году, я был зван к графскому столу. Сели за стол, мне пришлось сесть наискось против графа. Вдруг он вскочил и закричал: «Воняет!» и

убежал в другую комнату. Адъютанты его начали открывать окошки и сказали ему, что дурной запах прошел. «Нет! — кричит он. — За столом вонючка сидит». Адъютанты стали обходить всех сидящих и начали обнюхивать, один ко мне подошел и сказал: «Верно, у вас сапоги не чисты, извольте выйти, граф не войдет пока вы не встанете, и прикажите себе сапоги вычистить, тогда опять можете сесть за стол». Представьте мое смущение...

Энгельгарт запнулся: глаза Державина налились кровью, лицо его стало страшным.

— Северны громы в гробе лежат! Северны громы, милостивый государь мой! — выкрикнул Державин в лицо Энгельгарту и пошел прочь.

Стоявший рядом походный атаман Адриан Карпович Денисов шарахнулся — державинский рокот: громы, гробы — гр..., гр... его ошеломил. В памятнике он не разобрался, а ведь в Италии Суворова из огня на руках выносил. Вечером, в лейб-казачьих казармах, где он остановился у полкового командира Алексея Петровича Орлова, Денисов, имея влечения к ремаркам, записал:

«Что сего 1801 года, мая 5-го числа на Царицынском лугу против Михайловской крепости, токмо ближе к Летнему саду, у самой Канавы, поставлено подобие его сиятельства покойного князя Италийского на мраморном столбе. Монумент вылит из меди несказано выше и толще против натуры. В латах и шишаке, в правой руке шпага вознесена острым концом выше левого плеча, якобы кого навзмашь пересечь хочет. Лицо его геройски обращено на правую сторону. С левой стороны три короны и жезл, но какие, того в скорости не узнать».

В это время, дома, ломая грифель, Державин писал на аспидной доске, сам не зная почему, свои старые стихи:

...И славы гром,
Как шум морей, как гул воздушных споров
Из дали в даль, с холма на холм,
Из дебри в дебрь, от рода в род
Прокатится, пройдет,
Промчится, прозвучит
И в вечность возвестит
Кто был Суворов!

СОДЕРЖАНИЕ

II

СТИХИ. 1937

I

II

СТИХИ. 1942

I

II

III

ЛЕГИОН

СИРКО

СТИХИ. 1965

СТИХИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ И НЕ ВОШЕДШИЕ В СБОРНИКИ

СТИХИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ ПО АРХИВНОМУ СОБРАНИЮ И.И. ТУРОВЕРОВОЙ

ПРОЗА

Двадцатый год - прощай, Россия!
Николай Николаевич Туроверов.

Предисловие и составление.
Виктор Владимирович Леонидов.

К читателям.
Президент Российского Фонда Культуры
Никита Сергеевич Михалков.

Российский Фонд Культуры
Москва 1999

Издание подготовлено к печати в издательстве «Планета детей»
Ответственный за выпуск *Е. Никулина*
Набор и верстка *Л. Парчевская*
Корректор *В. Ананьева*
Художник *М. Казак*

ЛР № 064862 от 04.12.96
Подписано в печать 20.10.99. Формат 60 × 90 1/16. Печ. л. 19 + вкл.1,0
Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Times ET»
Тираж 3000 экз. Заказ 602

Издательство “Планета детей”
119501, Москва, ул. Матвеевская, дом 6

Отпечатано в Производственно-издательском комбинате ВИНИТИ,
140010, г. Люберцы, Московской обл., Октябрьский пр-т, 403.
Тел. 554–21–86

